

ГУБЕРНСКИЙ

ДОМ

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

3/95



КОСТРОМА

ГУБЕРНСКИЙ ДОМ

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ,
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

3/95

Время Общество Знание

- Юрий Куранов. Размышления о творческой личности в провинции. 3
Георгий Вопилов. Воспоминания о художнике Алексее Козлове. 6
Беседа с Почетным гражданином Костромы Всеволодом Аносовым. 13
Дорминдонт Крылов. Мельница под Ильинским. 17
Город мастеров. Фантазии на шелке и ангел на крыле. 22
Семейный альбом. В доме на Ивановской. 24

Свидетельства Архивы Документы

- Леонид Колгушкин. Семейная хроника. 27
Степан Азев. Воспоминания о Вавилове и Чайнове. 33
Михаил Сокольников. О постановке драмы Блока "Роза и крест". 38
Виталий Пашин. Депутат Государственной думы. 42
Неизвестные письма Александра Измайлова Николаю Грамматину. 45
Н.П.Колюпанов. Былое. Предсмертные записки. 48
Путешествие русского посланника в Китай. 52

Литература Искусство Культура

- О собаке, воробье и неверной жене. Сказка. 57
Александр Алешин. Гусар. Рассказ. 59
Сергей Есенин. Стихи. 63
Ольга Гуссаковская. Персиковая коробка. Повесть. 64
Владимир Леонович. Стихи. 76
Русские народные игры. 78

Учредитель - администрация Костромской области.

Попечители: областное отделение Российского фонда культуры, областной государственный архив, Костромское епархиальное управление, объединение «Кострома курорт», областная научная библиотека.

Журнал зарегистрирован региональной инспекцией (г. Тверь).

Регистрационный номер Т-0162.

НЕЗРИМАЯ СВЕТЛАЯ НИТЬ

"Через 30 лет из этого дома уезжал в столицу человек, составивший славу и достоинство отечественной культуры". Эти слова написаны на мемориальной доске, открытой недавно на доме, где много лет жил литературный критик Игорь Дедков. И до него, заметим, тоже уезжали отсюда в столицы – и писатели, и актеры, и ученые, которыми славится теперь не только Кострома, но вся Россия. Уезжали, чтобы потом вернуться на родину – своими произведениями, воспоминаниями, письмами, многие из которых мы читаем только сейчас, в том числе и на страницах "Губернского дома". И если быть внимательными, то можно увидеть ту незримую нить, которая соединяет эти имена и эти жизни, напоминает о

том, что нет ничего случайного и проходящего бесследно.

Вот и Дни памяти Дедкова, собравшие в Костроме многих известных журналистов и литераторов, стали событием российской культуры. И связаны они той же нитью – и с выставкой Алексея Козлова в художественном музее, и с литературной находкой в краеведческом музее, и с присвоением званий Почетных граждан Костромы драматургу Виктору Розову и ученому Всеволоду Аносову. Эти дни стоят в одном ряду с другими памятными датами нынешнего года – юбилеями поэта Сергея Есенина, писателя Александра Алешина, историка Николая Селифонтова, хранительницы наследия Островского, внучки великого драматурга Марии Шателен... О связи

времен, о неразрывности русской культуры, о продолжении добрых традиций рассказывает третий номер "Губернского дома". И пусть свет этих и других замечательных имен согреет вас, любезные читатели, как недавно свет имени Игоря Дедкова согрел участников Дней его памяти.

...На фотографии почти 40-летней давности запечатлен молодой Дедков, выполняющий здесь, в Костроме, свое первое журналистское задание. Все еще, кажется, впереди, жизнь, словно под крылом аэроклубовского самолета, открыта и полна надежд – "во все концы дорога далека..." Как хочется сохранить в душе эту улыбку и вопреки всему, не самому сейчас лучшему, верить в то, что память, любовь и надежда никогда не оставят нас.



ЗДЕСЬ МОЯ ИСТОРИЯ

Кострома — замечательный старинный русский город. Я не хочу ничего идеализировать, но здесь чувство России, естественное и глубокое, больше, чем в Москве. Наверное, в столице не меньше памятников истории и культурных ценностей, но в Костроме все это сосредоточено на небольшом пространстве-пятачке и находится в согласии с размеренной окружающей жизнью. В Москве же человек ходит по Кремлю — одно состояние, а выходит оттуда и попадает в шум, погружается в суету, в поток и как бы растворяется в этом.

Я в Кострому попал впервые в 1951 году — проплывал на пароходе и 5–6 часов гулял по городу. С тех пор ощущение, что здесь моя история, меня никогда не покидает. Кстати, родословная моей жены тоже связана с Костромой. Ее родители, и отец и мать, были костромичами. Мать училась в женской гимназии, а отец, мой дядя, в мужской. Звали его Сергей Башкиров. Это была известная в Костроме фамилия — парходчики. Сергей же Башкиров относился к другой, родственной ей ветви. Его отец, дед моей жены, был известным в Костроме врачом, а мать — фельдшершей. Биография Сергея Башкирова очень интересна для того времени. В 14 лет он попал в боевую дружину и принимал участие чуть ли не в вооруженном восстании. Был жандармами выслежен, арестован, его судили, но, как несовершеннолетнего, строго не наказали. После окончания гимназии он выпускался в Костроме нелегальный журнал и возил его для распространения в Польшу. После гимназии он хотел учиться дальше, но в крупных городах жить ему было запрещено, и он уехал в Германию, где учился в машинострои-

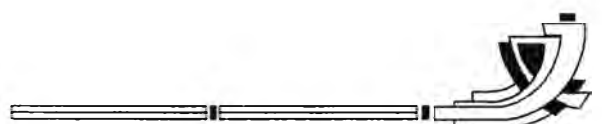


тельном училище. После начала первой мировой войны переехал в Данию, а оттуда вернулся в Россию, в Сибирь. В Омске он создал предприятие по производству сенопрессовальных станков, затем стал директором банка, а когда пришла Советская власть, его послали искать исчезнувший из Омска банк золотой запас. Это целая история, которая, к счастью, закончилась хорошо. Потом Сергей Башкиров стал известным в Омске профессором, но в Кострому больше не вернулся.

С Костромой меня связывает не только родословная жены, но и моя научная и общественная работа. Я много лет занимался проблемой переброски северных рек, которая имела отношение и к Волге. А Кострома ведь — то место на Волге, которое уже пострадало от разных гидротехнических сооружений и затоплений. Хорошо, что тот грандиозный проект удалось остановить, а то бы погубило очень много живого и ценного. Почему такое могло произойти? Все водное хозяйство у

нас было построено авантюрно. Министерство мелиорации и водного хозяйства получало в год средств в несколько раз больше, чем, к примеру, все наше здравоохранение. Им же надо было оправдывать свое существование. А вообще-то проблема еще глубже. Вот говорят, что человек — дитя природы. Но это совсем не так, человек — единственное живое антиприродное существо. Все остальные живые существа живут по законам природы, что ели, к примеру, медведь или лось 1000 лет назад, то едят и сейчас. А человек помимо природы сам определяет свое потребление и поведение, губит природу и тем самым губит себя.

В чем выход? В разумном потреблении, в приближении к законам природы, в понимании того, что научно-технический прогресс направлен на увеличение потребностей, а не на их сокращение. Нужно начинать возвращаться к нормальной, естественной человеческой жизни. В этом смысле я согласен с тем, что Россия будет возрождаться провинцией. Здесь, в отличие от столичной, все же другая жизнь, здесь люди ближе к природе, спокойней и добрей, и отношения между ними лучше. Здесь, в губерниях и уездах, были хорошие традиции земства, которые сейчас нужно вспомнить. Здесь живет старая русская культура, которая нам всегда помогала и поможет еще. Великий русский художник Гурий Никитин несколько веков назад оставил в Троицком соборе Ипатьевского монастыря слова, которые и сегодня напоминают нам о смысле нашего существования, о том, что вымысел всегда должен соединяться с реальностью, искусство — с жизнью, история — с сегодняшним днем.





КОЗЛОВ, МУРАВЬЕВ, ШУВАЛОВ — КАКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ...

О СУДЬБЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОВИНЦИИ РАЗМЫШЛЯЕТ
ПИСАТЕЛЬ ЮРИЙ КУРАНОВ, ГОСТЬ "ГУБЕРНСКОГО ДОМА"

Москва костромского художника Алексея Козлова признала сразу. Его заметила Н. Н. Третьякова, очень известный искусствовед, и он получил два приглашения выставиться — в художественном музее им. Толстого и в институте им. Гнесиных. Несколько выставок прошло в институте теоретической физики у Капицы — в научном мире столицы имя Козлова стало очень популярно.

Николай Шувалов однажды назвал Алексея великим художником. И это, как видите, подтвердила жизнь.

Недавно в Калининграде я принимал участие в подготовке юбилейной выставки, посвященной 70-летию А. Козлова, и знаете, какой успех она имела у искушенного калининградского зрителя? Необыкновенный. Адмирал флота дал личный самолет, чтобы доставить работы Алексея из Москвы в Калининград. И пресса твердила: "великий художник", "спешите посмотреть русского Ван Гога".

Кострома может радоваться, что на ее почве взросло это имя — Алексей Козлов. Я помню его посмертную выставку в Костроме — она тоже произвела тогда на меня огромное впечатление.

Почему Кострома не приняла Алексея, когда он здесь жил, писал свои первые вещи, пытался выставиться? Костромичи удивительно щедрые и отзывчивые на красоту люди, но многое решал не красотой, а чиновный "зритель". Здесь была

очень низкая культура и у самих художников, и у идеологических работников, которые за ними тогда присматривали. Удивительно, но в художественной среде это сохраняется до сих пор — художники не терпят друг друга, они диковаты. И может быть, к ним стоит относиться, как к детям — не замечать их "злодейства".

Великий художник — для меня тот, кто обладает внутренней свободой, хочет и умеет выразить только ему свойственное видение мира. Несомненно, Алексей Козлов был таким человеком.

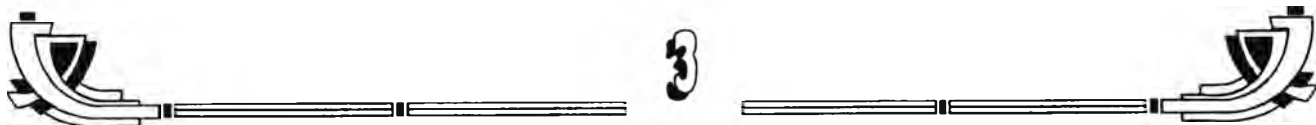
Вообще-то я не очень люблю воспоминания. Но хочется, чтобы об Алексее Козлове помнили — вот поэтому и написал книгу о нем "Озарение радугой". Как будто чувствовал, что после смерти художника будет период его забвения.

Тогда я не написал только одно: как мешал Алексею в Москве Илья Глазунов. Если кому-то интересно, то можно обратиться к рассказам Владимира Крупина. Там есть один — о художнике Костромине. Володя Крупин был настоящим другом Алексею. Он покупал его работы, он ездит и теперь каждый год на его могилу. Похоронили Алексея в Москве, на "номенклатурном" кладбище. Хотя мы, друзья, считали, что лучше было бы сделать это в Пыщуге. Тамошние власти тогда даже место определили, любимое козловское, с которого он любил рисовать, — высокий откос справа от больницы...

Вот мне тоже не хочется умирать в Калининграде, с удовольствием бы лег на этом откосе вместе с Алексеем Козловым. И поставить бы там крест... А что? Дело житейское, не удивляйтесь, что я думаю о смерти, в этом нет ничего страшного или неестественного...

У Козлова было написано где-то больше 200 работ, когда он с тяжелым приступом астмы попал в больницу. Но, не долечившись, бежал из Москвы на родину в Пыщуг. Соновый чистый воздух Трошинцев оказался вреден, ему стало хуже. Козлов поехал в Москву, назад. Козлов сошел с поезда, ему вызвали "скорую". В московских больницах, как и везде, по субботам врачей не бывает. Через час он уже умер...

Другой крупной фигурой на провинциальном горизонте Костромы 60-х был художник Владимир Муравьев. Местные профессионалы его тоже не приняли и вслед за Козловым он уехал искать признание в Москву. Тут стоит сделать одно замечание. Принято считать, что нет пророков в своем отечестве и наши провинциальные таланты мог тогда по достоинству оценить только Запад. Сомнительная, в общем-то, мысль. Когда был "железный занавес", на западе на "ура" шел любой левый художник, здесь играл свою роль политический фон. Вообще же, чтобы стать популярным там, нужно быть прежде всего понятным. Настоящего художника Запад может и не оценить, не говоря уже об американских мерках. То, что





Юрий Куранов в "Губернском доме"

Владимир Муравьев это очень тонко чувствовал, доказывает такой случай.

В отличие от Алексея Козлова путь Владимира Муравьева к известности был более сложным из-за особенностей его резкого, самобытного характера. Выставляться он начал на так называемых домашних выставках в домах московской интеллигентной элиты. Вот на одну такую выставку хозяйка привела какого-то заезжего американца, что было обычным делом. Независимый нрав Володи проявлялся на каждом шагу — ему все равно было с кем иметь дело, американцем или персом. Вот ходит гость, хвалит его работы, отбирает то, что хочет купить: вот эту, эту... А Володя возьми, да и откажи: — не продается.

— Почему?

— Думаю, вы не можете понять искусство русского человека — у вас другие представления о жизни, другой опыт, другие ценности. А я люблю свои работы, и мне будет просто жаль, если они будут висеть где-нибудь на кухне или в спальне только для пятна.

Американец ушел пораженный непрактичностью художника, ведь он предлагал хорошие деньги.

Алексей Козлов тоже не любил, когда денежный московский покупатель пытался скупать его лучшие вещи. Он назначал такие бешеные цены, что толстосумы обещали подумать, но больше в его жилище не заглядывали.

Козлов, Муравьев, Шувалов. Это и другое измерение, и другое поколение людей из провинции, не покалеченное деньгами. Увы, тот, кто хочет состояться в искусстве, редко может обойтись без столиц, чтобы добиться известности. Но родным он там никогда не становится. И Козлов, и Муравьев в Москве раздражали всех своей непрактичностью, неумением и, главное, нежеланием приспособиться к новой среде. Московским авторитетам, да и художникам, может быть, было обидно, что Козлов и Муравьев имеют роскошь жить независимо. При этом в них были настоящий русский патриотизм и необыкновенная детская доверчивость.

Алексей во время войны раненый отстал от части, встретился по пути, пробираясь к своим, с цыганом. Тот все его подбивал: "Мы списанные уже, давай убежим от войны". "Да как же, что это ты такое говоришь!" — стыдил его Козлов. Идут они по

полно и вдруг слышат в темноте русскую речь. Алексей обрадовался: "Наши! Идем скорее..." Цыган-то его и спас, затащил в воронку, к земле прижал, пока не прошли "смершевцы", добивающие раненых. Стать свидетелями этого дела стоило жизни.

Великие три человека в полном смысле слова: Козлов, Муравьев и Шувалов как личности, как художники, как мыслители останутся уже навсегда в истории не только Костромы — российской культуры. И стыдно будет нам, если мы не сумеем сохранить память о них, увековечить эту память. Работы художников распродаются. Например, сейчас сын Алексея Козлова хочет разделить отцовскую коллекцию и распродать свою часть. Вот это страшно. Раньше наследие художника можно было объявить национальным достоянием, но теперь все сложнее... Когда Алексей умер, детям его было 5–7 лет, и Виктор Пгнатъев позаботился об оставшихся картинах, взяв работы в музей. Они были подреставрированы, укреплены живописный слой. Надо сказать, Козлов совсем не придавал значения технологии, покупая жуткие холсты в МОСХе, краски разбавлял чем попало.

Теперь снова картины могут "умереть", и, может быть, Костроме, как наследнице, стоит позаботиться, хотя бы о выставке-воспоминании или о красочном издании их полного каталога или книги. Статьи, моя книга о Козлове "Озарение радугой" была задумана когда-то как подарочное издание. Хорошо бы устроить выставку Владимира Муравьева в Костроме, еще при жизни художника.

По-настоящему "борцом" с провинциальной рутинной в этой троице был Николай Шувалов, который остался бороться в Костроме с ветряными мельницами. Но для него не это было главным. Творчество — служба Богу, а не сатане. Дело-то в том, что задача искусства — не душу спасти (душу спасает вера). Искусство — необходимая ступень к молитве, в которой всегда есть потребность у человека, создания Божьего, хоть и павшего.

Присутствие этих троих в Костроме 60-х очищало атмосферу культурной жизни.



НЕБЕСА, ГДЕ СТРАДАЛА ДУША

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КОСТРОМЫ
СТАЛА ВЫСТАВКА РАБОТ АЛЕКСЕЯ КОЗЛОВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ

Говорят, что у художника есть "розовый период", где он совсем другой. Но об этом нам трудно судить — костромской зритель может быть только благодарен музею за те старания, которыми составлена эта коллекция картин Алексея Козлова из фондов, принадлежащая теперь государству.

Трагический символизм, так условно назовем те "небеса", где страдала и любила душа художника, когда он писал эти работы.

Яркие, чистые краски, упрощенность и обобщенность формы, величие и красота Природы и в ней Человека творят фантазией художника из нашего бедного серого быта чуда красоты и духовной силы. Может быть, это позволило калининградской прессе, на параллельной выставке Алексея Козлова там, посвященной тоже 70-летию со дня его рождения, в один голос твердить о художнике как "о русском Ван Гого".

Так уж устроены, любим сильные сравнения и споры вокруг них. Но вот глазами простого зрителя, стосковавшегося по художественным впечатлениям дня, взглянем в даль "Вечерних увалов". Ощутим защиту теплого покрова тумана, как эта северная земля — "Северная колыбельная". Постоим у портретов, таких разных, но как бы впитавших в себя весь жар жизни, земляной ее натруженный дух и стать, пролившиеся в красной энергии цвета.

Когда, где, у кого мы это видели? — не об учителях хочется думать, — об ученике. Творящем красоту, соединяющую лицо с ликом, а человека с космосом. И удивляться, где он черпал эту силу и величие. "Невеста", "Прабабка Евгения", "Пушкин"... Они увидены словно и впрямь с небес: на дальнем плане светит в портрете нимб горизонта, углубляя образ,

заставляя думать над загадкой волшебного союза земного и духовного в человеке.

"Амбарушки", кажется, самая светлая из работ этой выставки. Но и на ней печать прощания с Русью, где амбар и храм — две свечи, без которых не светло жить. Энергии горячего цвета позволяют художнику выразить свою боль и тревогу за то, чтобы не исказилась эта внутренняя красота предмета и лица под тяготами жизни. Цветовые контрасты палитры, которой пользуется Алексей Козлов, подчеркивают драматизм и напряженность бытия. Открытый красный, зеленый, коричневый, черный и синий сгущают художественное пространство до трагического символа. "Родительская изба", "Напюрморт с картошкой", "Петух"...

И вот опять, так уж получается, кроме цвета, чувства и впечатления, от живописи ждем смыслов и слов. Даем "подстрочник" поэти-

ческому символу — какой из них мог бы выразить Алексея Козлова. Может быть, этот "Петух", стоящий на страже света. Ведь затмение, затмение же, умов и целых жизней. А Петух, земной спутник солнца, в свой положенный час утра все взлетает и взлетает на холодный от ночной влаги подоконник раскрытого окна. И кричит непокорно и звонко о начале нового дня. Зажгите, пока затмение, хотя бы свечу. Алексей Козлов любил этот мерцающий свет, и еще огонь в русской печи. Может быть, пыщугских мадонн и старух он и рисовал в ауре их живого тепла. Очевидцы вспомнят. Но иногда символ выше правды быта. Эта странная живопись помогает скоротать душе темноту ночи и не потерять надежду когда-нибудь увидеть солнце. Может быть, так?

*Впечатлениями поделилась
Татьяна ГОНЧАРОВА*



Алексей Козлов. Родительская изба.

“ПОДВИЖНИЧЕСТВО ДАРОМ НЕ ДАЕТСЯ”

Дружба двух художников Алексея Козлова и Георгия Вopiлова продолжалась тридцать лет — до самой смерти Алексея Никифоровича. Когда пути-дороги развели их: Козлов обосновался в столице, а Вopiлов уехал в Киров, — они продолжали встречаться то в Москве, то в пыщугской деревне, то в Кирове, то в Красном. Все эти годы продолжалась и их переписка.

Нужно сказать, что дом Вopiловых (сначала в Глинищах,

а когда эту деревню поглотила Волга, в Красном) много дал начинающему художнику Алексею Козлову. Дядя его друга, талантливый русский живописец Василий Петрович Вopiлов, сокурсник Левитана по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества, умер в 1936 году. Но в самом конце 40-х — начале 50-х годов, когда Козлов особенно часто приезжал в этот дом, здесь еще жили родные Василия Петровича, хорошо помнившие и приезды в Глинищи Левитана с

Софьей Кувшинниковой, и разговоры художников. Была еще тогда целая и беседка в саду — излюбленное место этих разговоров и споров. А на стенах дома и в мастерской висели прекрасные работы старшего Вopiлова. Множество старых книг с великолепными репродукциями, старинных фотографий и документов. Коллекция пластинок и музыкальная классика, которая звучала на инструменте, занимавшем в зале почетное место... Все было интересно приехавшему недавно из глухомани и жадно тянувшемуся к искусству студенту Костромского художественного училища.

И сегодня на столе, за которым беседуем мы с Георгием Александровичем Вopiловым, запросто стоит в рамочке фотография, на обороте которой автограф: “Милому В. П. Вopiлову на добрую память. — И. Левитан. 93 г.” А рядом с нею Георгий Александрович выкладывает целый альбом, который посвящен его другу Алексею Козлову: множество фотографий, карандашные рисунки, газетные и журнальные вырезки, репродукции с картин... Он начинает взволнованный монолог — свои воспоминания о друге, размышления о судьбе художника.



Старинные вещи вopiловского дома: фотоаппарат, которым Василий Петрович когда-то снимал Левитана, фотопортрет И. И. Левитана с его надписью на обороте, пороховница — его подарок В. П. Вopiлову.

Алексей в живописи долго искал свой путь, точнее сказать, всю жизнь. Об Ивановском художественном училище, где начинался этот поиск, даже Юрий Куранов в своей книге не упоминает, да и сам Алексей об этом мало мне рассказывал. Уже позднее, в

Суриковском институте один студент из Иванова, услышав знакомую фамилию, стал вспоминать Алексея и поведал, что звали его там не иначе как импрессионистом. О Горьком в книге Куранова говорится, правда, не три года там проучился Алексей, а всего

один. Там, по мнению Алексея, писали как бог на душу положит: если медный таз, так его непременно надо желтой краской с коричневой — живописью здесь и не пахло.

В Кострому Алексей перевелся в 47-м на третий курс. В классе на



одном из первых занятий была поставлена зажженная свеча и вокруг нее немало еще предметов — Алексей блестяще и по-своему написал этот сложный натюрморт. И что бы вы думали? Шлеин, которого многие сейчас считают таким заскорюзлым соцреалистом, поставил Алексею первый номер. Все удивились, ахнули и побежали смотреть. Кто был ближе к настоящей живописи, стал тянуться за Козловым. А один из прежних лидеров подошел к учителю: "Как же так, Николай Павлович?"... Шлеин в ответ как отрезал: "А он — живописец, а вы — никакие не живописцы. Вот за то ему и первый номер".

Непосредственным педагогом Козлова был Михаил Сергеевич Кодесов, хороший живописец и учитель — интересный, кстати, нынче отметивший свое девяностолетие и продолжающий работать. Но Шлеин тоже Козлова выделял, любил беседовать с ним. Помню, однажды уж очень долго сидели они вдвоем на веранде и говорили, говорили. Я спросил потом Алексея, о чем. — "О пейзаже. Шлеин признался, что очень

любит солнце писать. А мне больше сумерки нравятся. — "Ну что же, пишите сумерки. Это тоже хорошо, только надо найти в них какую-то поэзию"...

Надо отметить, что в 1948 году, когда проходила знаменитая борьба с космополитизмом, то и у нас в Костроме было собрание. Так вот там из уст одного художника выскочило: "А Шлеин у нас не космополит ли тоже?" На Николая Павловича это произвело тяжелое впечатление. Он пригласил меня вскоре и стал спрашивать сначала о моем дяде, с которым был хорошо знаком с юности: как это случилось, что Василий Петрович порвал некоторые свои работы? А потом не удержался и пожаловался: "А вот меня обвинили в космополитизме. А я им никогда не был. Я учился у классиков русской школы". Как могли, мы старались успокоить старого учителя.

Алексея в живописи интересовало все, что талантливо, и он был готов учиться у любых "истов", чтобы пойти затем своим путем. Предпочтение отдавал он старым мастерам. Вот недавно, перебирая книги, я наткнулся на

книжечку о Констебле — ее мне Алексей привез еще в годы учебы. И обратил внимание: она вся в его подчеркиваниях. Выделены те места, где речь идет о тончайших живописных приемах Констебла. А ведь и я, да и тот же Коля Шувалов в то время прошли мимо этих мест. Просто мы смотрели на Констебла как на хорошего художника, в его ремесленные тонкости не вдаваясь. Алексей же с крестьянской дотошностью и основательностью хотел познать все, во всем проникнуть в самую суть, всему научиться.

Бывало, он заявлял: "Вот это место буду сейчас писать под Ромадина. Посмотри-ка, Гера, нет ли у тебя кисточек потоньше..." И выходило здорово. Потом он мне рассказывал, как в минуту его жизни трудную один из приятелей предложил: "Слушай, ты крепко можешь заработать: вот эти несколько этюдов я продам за Врубеля, а ты деньги получишь". Было это в самом начале жизни Козлова в Москве, когда совершенно не на что было жить, а покупать никому не известного Козлова никто не хотел. Алексей, конечно же, категорически отверг это предложение.

Слышал я от Алексея и рассказ о том, как в самом начале московской жизни, отказавшись от работы на студии мультфильмов, долго мыкаясь без денег, безуспешно пытался он продать несколько своих работ через салон. "Нет, принять не можем. Чтобы выставить на продажу, нужно разрешение председателя Союза художников". А им тогда был Сергей Герасимов, крупная в то время величина. Пришел, позвонил. Выходит мэтр: "Что вам?" Объяснил. — "Что вы думаете, у меня времени много, чтобы и картины писать, и рекомендации в салон давать!" — "Да вот мне хочется краски купить и на этюды съездить..." — "Мы все хотим и на этюды ездить, и краски покупать..." Потом все же снизошел: "Покажите, что вы с собой принесли?" И даже не в мастерской, а прямо в коридоре расставил Алексей пять-шесть небольших этю-



Г. А. Вопилов в мастерской. 1994 г.





А. Козлов, Н. Шувалов, В. Муравьев в доме Вопиловых. 50-е годы.

дов. Герасимов посмотрел, посмотрел: "Пойдемте в мастерскую". И там снова внимательно смотрел и расспрашивал: откуда Алексей, у кого учился. — "А-а, знаю Шлеина. Я вам, пожалуй, так и быть — дам рекомендацию. Выставляйтесь в салоне..."

Кажется, сама жизнь подкузьмила Алексею. Тяжелое ранение на фронте: перебило правую руку — разве не мешало это потом художнику? Бывало, только зубы стиснет покрепче, перед плохой погодой особенно. А то и застнет во сне. А годы учебы? Он приехал в Кострому — всей-то одежды было: китель, по-моему, морской, далеко не новое пальто на рыбьем меху да американский красивый шарф, предмет его гордости, с которым он долго не расставался. И до поздней зимы он так и ходил, даже без шапки. Шапчонку какую-то уже потом из деревни привез. А питание какое было? 500 граммов хлеба по карточкам,

иногда немного масла да еще какие-то пустяки. Плохо, трудно жил Шувалов — я бывал у него дома, — но все-таки был Коля дома. У меня — Красное под боком, мать и сестра чего-нибудь да подбросят. Так уж мы с Алексеем кормились вместе. Моя мать очень его жалела. И каждую субботу мы вместе садились на "Крестьянку" — ходил тогда по Волге такой пароходик — и ехали в Глинищи. В деревне все же и корова была да и хлебом побогаче. А иногда, бывало, и на неделе выпросимся у Шлеина на этюды на денек-два. "Хорошо, — скажет Николай Павлович, — поезжайте, ребята, пишите".

Хорошо помню, в самый первый раз в Глинищи приехали на этюды вчетвером. Работали дня два или три. Колесов хорошо тогда написал старика Потанина в розовой рубаше на солнце, мы с Иваном Лебедевым (это потом музыка окончательно перетянула

его, а вначале он тоже учился у Шлеина, он-то первый и познакомил меня с Алексеем) тоже рисовали старика. Что конкретно писал в тот раз Алексей — не помню. Но он всегда удивлял чем-то неожиданным. То выберет в овраге маленькие желтые цветочки, то просто траву с какими-то колокольчиками, то замысловатую вязь морщин на старом дубе. Очень любил писать и садовые цветы, которые выращивать большая мастерица была моя мать. У меня случайно сохранилось десятка два таких этюдов, а густой малиново-черный георгин висит в Кирове в раме. А дело было так. Собирался Алексей уезжать. В чемодане везти все тяжело. Он растопил печку и жег эти небольшие совсем картонки. Я говорю: "Нет, погоди, пусть лучше лежат". А он уже сжег половину...

А здесь у меня в мастерской его большая юношеская работа "К неведомым берегам", совершенно

инного плана. Это тоже один из этапов его поисков, обращение еще к языческим предкам. Их ведь целая серия была таких больших холстов. Он из Горького много холстов привез, мы их стирали по ночам на Волге, огромные холсты, отмывали. Алексей потом загрузывал. И писал. На одной из фотографий хорошо видно, как в нашей крохотной каморке в Костроме от этих работ становилось совсем тесно.

Потом был период увлечения сказками Андерсена. Через некоторое время я в Москве увидел и сюда он привозил, показывал северные увалы: красные, багряные леса, и стоят на этих увалах деревнюшки, колодцы с журавлями, и птицы летают, целые стаи птиц.

Потом опять великолепные натюрморты, затем портреты начал писать. Впрочем, прекрасный портрет своей племянницы Зои он привез с каникул еще на пятом курсе. Зоя эта стала потом женой писателя Юрия Куранова и хорошо описана в "Увалах Пыщуганья". А у меня в глазах стоит: зеленая шубка суриковская, глубокая, платок лиловатый и бледное лицо — матово-сиреневое, и голубые глаза. Впрочем, портрет этот понравился не только мне. Приехал тогда некто из Москвы, поступил в училище как-то срочно, полез в большую дружбу к Алексею, все обещал: "Приезжай в Москву, я для тебя все сделаю". И в одно прекрасное утро Козлов встал, а этот столичный прохиндей обокрал его: взял этот портрет, несколько пейзажей и был таков...

А вот однажды, когда я в Трошинцах был, он писал мухоморы — красивые, красные и последние осенние листья с росой. Он один там в большом крестьянском доме. Сеновал переделан на мастерскую. Окно вырезано, прямо перед ним — стена леса. Гром, ветер — все ходячим ходит. Внизу, в подклети, своей скотины давно нет, колхозные быки, укрылись от непогоды. Слышно, как они шумно там вздыхают. Так вот раз разложил свои грибы Алексей в мастерской, а в полу щели были

большие, и эти быки языками и испортили несколько этюдов.

Запомнилось, что стоял у Алексея приемник на батарейках. Он включал его и под музыку работал. А тогда можно было по радио слушать и певцов великих, и Бетховена, и Моцарта, и Шуберта каждый день. А возле дома еще лошади паслись. Так Алексей докладывал мне свои наблюдения: "Гляди-ка! Если музыка плохая — лошади уходят траву щипать, а классика — к окну подходят и слушают!"

Кстати, о музыке. Сам Алексей был очень музыкален, несмотря на то, что ему, как он сам говаривал с сожалением, медведь на ухо наступил. Сначала он не очень-то музыку воспринимал. Но вот Иван Лебедев и я, да еще мой брат, когда приезжал и присоединялся к нашей компании, были страстными любителями музыкн. А в нашем доме сначала патефон, потом приемник появился, затем проигрыватель — музыка звучала постоянно, и Алексей постепенно в нее вживался. Итальянцы что-то поют — и он стоит и с удовольствием повторяет некоторые итальянские слова. Или Катальская поет: "Цветок засохший, безуханный..." — он повторяет это пушкинское "безуханный", словно на вкус пробует. Любил Бетховена и Шопена особенно...

В его родной деревне я видел Алексея особенно сосредоточенным на работе. Здесь ему хорошо писалось, и он умел это время ценить. Здесь уходили на задний план все другие заботы. Впрочем, как уходили... Приехал я раз к нему осенью. Встречает в Пыщуге, сапоги принес резиновые, потому что без них к нему не пройти. Вот, говорит, совсем без денег сижу. А потом вдруг сестра Клавдия Никифоровна (она на почте работала) несет целую пачку переводов — штук шесть. Алексей объяснил: "Я уж жене писал. Композитор Хачатурян взял несколько работ, еще кто-то, еще. А денег не шлют. Они люди богатые, тоже богатый". И вот сразу потащил меня в мага-

зин, и мы, набив рюкзаки продуктами, отправились в Трошинцы.

Ведь на большие выставки его так и не пустили. Живопись Козлова ценили и приобретали такие люди, как академики авиаконструктор Антонов, кибернетик Лебедев, математик Бармин, композитор Хачатурян. И его выставки персональные устраивал в своем КБ в Киеве тот же Антонов, специальный самолет присылал за картинами и художником, Семен Гейченко в Пушкинском заповеднике, Капица в Доме ученых... А мечта о признании, конечно, была. Еще в Костроме, бывало, пойдём в музей художественный: "А слушай, может, придет такое время — и Козлова повесят сюда? А?"

Когда я думаю о судьбе Алексея, в голову приходит такая мысль: подвижничество даром не дается. А Козлов был подвижник. Много я за свою жизнь знал художников — и больших, и мелких, и народных, и заслуженных, и приспособленцев всяких. Козлов среди них уникален. Зарабатывать искусством на жизнь Алексей себе позволил только дважды: первый раз — когда, вернувшись из Пыщуга, где учительствовал, в Кострому, он чуть больше года работал в портретной мастерской, и — второй — когда после изгнания из этой мастерской мы с ним взяли за панно в Сидоровском Доме культуры (у меня до сих пор договор об этом хранится). Больше на кусок хлеба он не сделал ни одной работы. Покупали их у него или не покупали, это было только творчество. И из нашей компании больше ни у кого такого не было: ни у Володи Муравьева, ни у меня, ни у Николая Шувалова, который, как известно, все время в фонде работал и неплохо зарабатывал. У Алексея на заказ — просто не выходило. Помню, он делал сухой краской портрет Ленина, так очень туго эти портреты принимали. Зрительный аппарат у него был так устроен — по-особому. В лице Ленина (там, вроде бы только три краски да потом карандашом чуть подтуше-



вать) он так щеку или лоб натрет — можно прочесть десять — пятнадцать, а то и больше оттенков. Зачем? К чему? — "А это я так вижу". Глаза у него были так устроены, глаза истинного живописца.

...Последний раз мы виделись осенью 1976 года. Мы договаривались встретиться здесь всей компанией, но от Алексея пришла телеграмма: "Заехать не смогу. Давай встретимся у Шувалова". Очевидно, боялся он, зная о том, что я недавно похоронил мать, которую Алексей очень любил, чтобы мы, все вместе собравшись, не на шумели в нашем осиротевшем доме. А чуть позже нагрянул он неожиданно. Взял путевку в Плес в Дом творчества, но выдержал там только неделю: слишком там все напоминало о том времени, когда Алексей отдыхал в Плесе вдвоем с Диной.

Еще когда шли по берегу Волги, смотрю: лицо у него бледное, ухо даже в синеву. Я его о здоровье спросил. "Ничего, — говорит, — бывает..."

Он всегда высоко ценил творчество моего дяди. А в этот раз, увидев его картины, целую лекцию мне прочитал о том, что надо восстанавливать забытое имя большого художника. Жалел, что осталось мало работ Василия Петровича: что-то он сам уничтожил в приступе депрессии, что-то оказалось рассеяно по свету. Говорил, говорил, а потом, смотрю: будто выдохся.

За столом помянули мою мать. Стал я расспрашивать его о жизни. Опять разволновался. Говорил о неустроенности. О том, что нет возможности развернуться талантливым художникам. Называл поименно, как зажимают их всякие народные, заслуженные, что сидят в Москве в Союзе художников.

— А не принимают на выставку меня, не принимают. Они хотят писать так, как они пишут. А я так не умею и не хочу. Меня считают формалистом. А я — реалист, но не такой, как они. Был и буду реалистом!

Заговорили о бытовых вещах.

— Сейчас купил два дома в Черновлянах. В Трошинцах жить одному стало невозможно. Дома зарастают. Деревенка рядом — ну, да ты ее помнишь — исчезла. Сейчас одна надежда на Черновляны. Там мастерская у меня будет и жилье. Даже зиму можно жить. Надеюсь, что буду работать там много. Искать новое... Я не нуждаюсь сейчас в поддержке Союза художников, работы у них никогда не просил, никаких заказов не было и не надо. Возможности продавать свои работы у меня сейчас есть. Деньги есть. Вот хочется мне квартиру, да и врачи



Алексей Козлов. Карандашный портрет, сделанный Г. Вопиловым в 1955 г.

настаивают. Но жалко терять этот угол насиженный, маленькую двухкомнатную квартирку, в самом центре Москвы. Не знаю, чем эти хлопоты закончатся...

Если идти от Красного по дороге на пристань, а потом свернуть вправо на Высокие горы, там у самой воды стоят восемь дубков. Когда-то их было девять, но один засох. Козлов всегда здоровался с этими дубками: "Здравствуйте, Ананий Иваныч!" Эти дубки любил когда-то писать А. И. Удалов, здешний художник, наш знакомый. А мы любили работать подальше: шли до Черной

речки — там стоят уже мощные старые дубы, все изрезанные глубокими морщинами. И вот пришли мы в последний раз туда с Алексеем, кажется, 22 сентября. Тихий, ясный, солнечный день. Разговор был снова об искусстве, о дальнейшем творчестве. Впрочем, говорил он один, я молчал. А Алексей разошелся, разволнованный этой красотой: дубы осенние вперемежку с осинами и березами были настолько изумительны под великолепно синим небом! Вот Алексей и говорил:

— Зачем куда-то ездить? Вот живи здесь и пиши. Пиши до конца жизни, сколько ее осталось. Только бы в руках кисти держались да видели глаза. Больше ничего и не надо.

Потом он прислал мне приглашение на открытие выставки своих работ в редакции "Комсомольской правды". Но я поехать не смог. А скоро — опять же из "Комсомолки" — узнал я, что не стало Алексея Никифоровича...

Козлов был редкий художник — от земли. Что бы ни говорили, у каждого есть что-то наносное: у этого Ван Гог, у другого Врубель... У него все свое было, он все видел своими глазами. "Он был крестьянин всеми корнями, всем мышлением", — правильно пишет Неменский. Ни в один стилевой поток не влезал. Поэтому Алексею и было дано и не только словами в фильме сказать, но и на полотнах своих это выразить: "Земля наша выстояла во всех войнах, всякие соблазны прошла, а осталась чистой вот с такой душой, которая никогда не может ни согнуть, ни скривить. Поэтому та основа, основа красоты, которая идет с древних времен через все поколения — эти рецитативы, свободные распевы, которые могут меняться, повторяются, — такой древнерусский напев звучит и во мне".

Записал
Владимир СМОРЧКОВ

ВЕРНОСТЬ РОДНОМУ ПЫЩУГАНЬЮ

Родился Алексей Козлов в тринадцати километрах от Пыщуга, в деревне Трошинцы в 1925 году в семье крестьянина. Родители сюда приехали из вятского края и поселились в лесу, вырубая его для строительства и постепенно осваивая землю под пашню.

Семья была трудолюбивая, но разбогатеть так и не смогла: мало было мужской рабочей силы. Наверное, большего Козловы достигли в интеллектуальном плане. Интерес к знаниям, тяга к образованию, стремление к прекрасному передались детям и внукам, скорее всего, от отца.

Как я запомнил Никифора Ефимовича в 49–50-х годах, это был человек плотный, немного сутулый, небольшого роста, с резким скрипучим голосом, еще довольно подвижный, с неизменной толстой книгой, которую читал без очков при свете коптилки, и поразительно был похож на старца-отшельника в своей сумрачной келье. Читал он с упоением и, видимо, полностью сживался с героями книг. Брови, как два пучка соломы, беспрепятственно двигались, он часто вставал, ходил по избе, рассуждал с невидимым собеседником и время от времени резко произносил свое любимое: "хе-хе..."

Интересовала его и наша классика, и советская, и зарубежная литература, и историческая, и научная, и политическая. Читал местные и центральные газеты, слушал радиопередачи. Живя вдали даже от райцентра, он знал обо всем в стране и за рубежом.

В молодости воевал Никифор Ефимович в 1904 году с японцами, оборонял Порт-Артур и был георгиевским кавалером. Знал адмирала Макарова, генералов Куропаткина и Стесселя, про которого говорил: "Хе-хе, продал он, сукин

сын, Артур япошкам, мы бы не отдали". Особенно после того, как прочитал книгу Степанова. Очень сожалел о гибели Макарова и с ним "большого художника" (Верещагина).

*Анатолий Иванович
Бобарыкин — учитель Горкинской неполной средней школы
Пыщугского района, земляк
А. Н. Козлова.*

Алексея с детства окружала красота первозданной природы, мир добрых, трудолюбивых и пытливых людей. Эту красоту он воспринимал по-своему, хотел перенести ее на бумагу или полотно. И желание свое впоследствии довел до совершенства. А пока учился в школе, много работал, помогая родителям по хозяйству, и рисовал. Незаметно пришло время выбора дороги в жизнь, и Алексей пешком с холщовой сумкой, в которой были жареный петух да каравай хлеба, отправился за 250 километров в Великий Устюг учиться в речное училище.

Но тяга к живописи оказалась сильнее. И вот Алексей уже отправляется в обратный путь. На питание в дороге подрабатывает или просто пользуется добротой сердца северного человека. Но опять не время было заняться любимым делом: началась война. Он добровольцем уходит на фронт. Не закончив Архангельское пехотно-пулеметное командное училище, попадает на передовую и в бою за один хутор получает ранение в правую руку. После лечения в госпитале и длительных тренировок пальцы руки почти вернулись в рабочее состояние. Наконец-то и художественное училище

в Горьком, а потом в Костроме! Зимой и летом Алексей приезжает домой на каникулы.

Длинные зимние вечера при свете керосиновой лампы деревенская молодежь проводила в доме Владимира Хлупина, родственника Козловых. Здесь я его впервые и увидел.

За столом сидело пять-шесть парней, освещенные тысячей десятиваттной лампой, играли в карты, "в очко". Все были возбуждены и с хаканьем хлестали валетов и королей о стол, взрываясь снарядом при удачном ходе. Алексей сидел на краю в старой, выдавшей огонь и дым шинели. Длинные прямые, заброшенные назад волосы ложились на воротник. Он часто вскакивал, жестикулировал, размахивал руками, кричал и разительно хохотал громче всех. Поток сыпались шутки и всевозможные присказки. Сколько в этой компании было задора, страсти и народного меткого слова! Много играли в шашки, шахматы, рассказывали и спорили о художественных произведениях.

Поначалу большинство жителей деревни учебу Алексея в училище не считало серьезным делом, которое может дать кусок хлеба. Но когда увидели на стене портреты отца и матери, написанные Алексеем, отношение к нему совершенно изменилось. Его стали просить "увеличить" фотографии своих родных. Такой заказ сделали и мои родители. Но портреты, выполненные карандашом, к сожалению, не сохранились.

Закончилась тяжелая, полуголодная, но все-таки веселая студенческая жизнь. Алексей возвращается в родные места и работает учителем черчения и рисования в Павине и Пыщуге до 1959 года. Многие из нас были его учениками. В Пыщуге жил он вместе с се-

строй Клавой и племянником Станиславом Хлупиным, будущим офицером-авиатехником, у Клавдии Дмитриевой на Первомайской улице, там, где сейчас стоит рядом с гостиницей двухэтажный кирпичный дом.

Впоследствии Алексей Козлов живет в Москве, но его душа остается верной родному Пыщуганью, где, как из родника, черпал художник и силы, и свои творческие замыслы.

Приезд Козлова в деревню всегда был желанным событием. Поджидая его, люди невольно поглядывали на дорогу. Он всегда по ней приходил пешком, и не заметить его еще издали было невозможно. Выдавала особая "козловская" походка. И сама его фигура, и эта походка создавали впечатление человека крайне беззаботного, счастливого, радостного и веселого. Он то шел быстрыми широкими шагами, высоко поднимая подбородок и периодически оглядываясь через плечо, то останавливался, кружась на месте, вскинув перед глазами руку с поднятым вверх большим пальцем или карандашом, и целился на какой-нибудь предмет, при этом с удовольствием или сожалением хмыкал, прикладывая пальцы к губам. Снова шел, вращая головой по сторонам и размахивая руками, а то останавливался, воздев руки к небесам, раскатисто, от души кричал: ого-го-го! Покинув каменные стены города, он погружался в объятия родной стихии и не скрывал радости, охватившей его. С ним всегда было весело идти, сидеть, говорить. Самая короткая встреча с ним вливалась в душу словно кружку доброго деревенского пива, и хмелела душа на долгое время.

Гостя встречали всегда шумно, с широкими призывающими жестами, распахивая двери и засыпая его вопросами, а он постепенно стихал и терпеливо, с вниманием, даже отчужденностью слушал, временами бросал на говорящего быстрый, цепкий, пронизывающий взгляд, повторяя: "Да, брат..."

В компании запасы энергии у него были неиссякаемы. Начинал с двух-трех слов, а потом загорался и, запалая других, доходил до полного взрыва. Говорил шумно, напористо, с шутками и присказками, жестикулируя и размахивая руками, брови лезли на чистый, высокий белый лоб, глаза округлялись и вращались на русско-азиатском лице. При всем этом он не допускал хамства в любом проявлении, не был развязен, напротив, был до стеснительности скромен и прост. Достигнув зрелого возраста, пасовал перед женщиной, как юнец, и смотрел на нее, как на что-то наивысшее. Нравились ему женщины и девушки или очень красивые, или же особенные. Может, поэтому долго был холостым. Его женой стала педагог и искусствовед из Москвы Дина Безрукова. Она была поклонницей таланта художника Козлова. Появились дети Святослав и Мария. Кажется, для полного счастья было все, но Дина прожила очень мало и оставила маленьких детей на руках отца. Тяжело Алексей переживал утрату, хотя внешне боль свою старался не проявлять, и до конца жизни остался верен своей жене. После ее смерти каждое лето приезжал в деревню. Позднее купил дом в Черновлянах у Останина Григория Аристарховича. Здесь рождались основные работы художника. Это были натюрморты, пейзажи, портреты крестьян, цикл "Моя родина, Отечество мое". В них выразил искреннюю и неподкупную любовь к родному краю, природе и народу. А цену этому Алексей познал очень и очень давно. Любил жизнь со всеми превратностями, видел ее красоту во всем окружающем мире и переносил на полотно каждый цветок, каждую травинку...

Гибель родной деревни переживал с особой болью. Об этом он не мог спокойно говорить, он кричал, озираясь по сторонам: "Где Трошинцы, хутор Свистов, где все Хлупины, Татариновы, Свистовы и Курмашевы, Бобарькины и Сенниковы, Анна с Егором Паха-

ном, соседка Васса Старцева, где вечера, гулянья, песни и пляски под гармошку Володьки Хлупина? А теперь никого, тишина, хоть вой. Дико, брат, дико... Да, брат..."

Летом, за год до его кончины, мы решили сходить на реку бредить рыбу, как бывало в молодости. Раньше это было у трошинцев самым любимым увлечением. В жаркий день брали у Ильи Адамовича бредень-курошник и отправлялись на Васину мельницу. Начали бредить из-под Питеряков и шли вниз, заходили на озеро, расположенное тут же на ираклихинском берегу, за карасями. После всего разводили костер, грелись, сушили одежду, выбирали пивок и делили рыбу. Улов всегда удовлетворял всех рыбаков и владельца бредня.

И вот около полудня мы на машине с бреднем у Козлова. Он долго не мог успокоиться, удивлялся, как нам пришло в голову организовать рыбалку. Мы шли давно знакомыми, но очень сильно изменившимися местами. Заросли частым молодым березником поля хутора Питеряки, берега реки заросли несенокосными травами и кустами ивняка. Алексей шел, удивляясь одичалым после ухода человека местам, часто озираясь по сторонам и останавливаясь: казалось, он хотел все взять с собой и вернуть людям на холсте.

Кто знал, что это последняя в его жизни рыбалка...

Все, чего добился в жизни Алексей Никифорович, далось тяжелым до изнурения трудом. Работа, бытовые условия, пренебрежение к своему недомоганию — все это рано подорвало его здоровье, и летом 1977 года его не стало.

Все, кто знал этого человека, не смогут его забыть.



“КАМЕНОТЕС ДО 90 ЛЕТ РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ...”

Всеволод Николаевич в шутку называет себя участником первой русской революции. В декабре 1905 года ему было около полугода. Отец служил ассистентом в Москве в Софийской детской больнице, там же была и квартира. И вот, когда семеницы вели наступление на Пресню, как раз через территорию больницы, пули залетали и в квартиру Аносовых. И мать положила ребенка на пол, под подоконник, чтобы защитить его от шальной пули.

Долгая жизнь за плечами профессора В.Н.Аносова. Лишь на два месяца он “опоздал” из Иванова, где после окончания политехнического института начинал работать, в Кострому на открытие текстильного вуза. Но с 1 января 1933 года и по сей день его жизнь связана с этим вузом — Костромским технологическим институтом.

Всеволод Николаевич был у истоков подготовки инженеров по новой совершенно специальности “Машины и аппараты текстильной промышленности”, он автор первого учебника “Основы проектирования прядильных машин”. Вообще можно долго бы перечислять его заслуги в развитии вуза, но самое, наверное, дорогое — в другом. В молодости он впитал от своих профессоров, от старших коллег, вместе с которыми он создавал в Костроме текстильный вуз (а среди них были питомцы Московского университета и Высшего технического училища) атмосферу старой русской высшей школы, высокий дух интеллигентности. И сегодня передается это через многочисленных учеников Всеволода Николаевича вузу, ставшему его судьбой. А еще более важно, что по-прежнему в стенах института и он сам, старейший профессор Костромского технологического.

Я думаю о том, сколько костромичей порадовались тому, что В.Н.Аносову присвоено звание “Почетный гражданин города Костромы”, и сколько таких людей в других уголках России и за ее сегодняшними пределами.

— Всеволод Николаевич, во-первых, примите поздравления “Губернского дома” со званием почетного гражданина нашего города.

— Большое спасибо. Я надеюсь, что это звание в какой-то мере справедливо оценивает мои скромные труды в течение многих лет моей работы в Костроме. Все-таки почти семьдесят лет из моей долгой жизни с Костромой связаны.

Я приехал в Кострому в 1919 году, когда отца после демобилизации направили организовывать санаторий в бывшей усадьбе Витова, который потом получил название “Трифонич”, а я, подросток, как мог, ему помогал. А затем начал учиться в Костроме, и окончательно наша семья пере-

бралась в город в 1922 году.

— Интересно, какое первое впечатление сохранилось в памяти от города, увиденного вами в 14 лет.

— Очень хорошее впечатление. Красивый губернский город. Ведь до этого мы жили в Романово-Борисоглебске Ярославской губернии. Так вот отец частенько сравнивал ярославцев и костромичей, и сравнение было в пользу Костромы: ее жители гораздо приветливее, радушнее, внимательнее друг к другу. Ярославцы угрюмее, хотя, может быть, деловитее.

А мне запомнилось, что здесь были хорошо организованы бойскауты. На улицах сплошь и рядом встречались подростки в бойскаутских галстуках и шляпах,

с посохами. Поскольку по уставу бойскаут должен был каждый день совершить добрый поступок, они метались по улицам, чтобы помочь старушке поднести какую-то корзиночку или перевести ее через улицу. Иногда этим и пугали старушек...

— Всеволод Николаевич, у нас почетными гражданами Костромы в недавние десятилетия кто становился? Ткачихи А. С. Николаева и В. И. Плетнева, строитель З. А. Смирнова... Правда, пять лет назад не с первого, как говорится, захода, но удалось добиться присвоения такого звания А. А. Григорову, теперь вот вы и Виктор Сергеевич Розов. Такой крен в сторону интеллигенции. Как вы к этому относитесь?



— Я вообще считаю: поскольку сословия были упразднены в 1917 году, сейчас вряд ли целесообразно их восстанавливать. Хотя они восстанавливаются: собираются дворяне, организуется сословие священнослужителей, появляются "новые русские" и т.д. Мне сословная дифференциация не по душе. Думаю, и отмечать почетным званием надо человека, если он действительно оставил какой-то заметный след в жизни города. И В.Н.Плетнева его оставила, потому что в меру своих сил и компетенции хорошо работала и являлась примером для других, и ее имя в какой-то мере стало нарицательным. То же самое могу сказать и о Зое Ананьевне, которая, кстати, живет в нашем доме. А Григоров ведь тоже занимал скромную должность бухгалтера перед пенсией, но затем проявил себя как крупный исследователь истории костромского края. Виктор Розов прославил город своим талантом драматурга...

— Вы не хотите делить по словесным признакам. Но вот ваш род, насколько я знаю, интересен тем, что по нему можно проследить постепенный переход из сословия торгового, купеческого в интеллигенцию.

— Да, так оно и было. От старших своих родственников я слышал, что в восьмом от меня поколении был в нашем роду Назар, прозванный Купчиной, родом из крестьян, который торговал скотом. Его сын, видимо, уже окончательно перешел в купеческое сословие. А дальше три поколения моих предков торговали уже музыкальными инструментами и нотами. И хотя магазины у них были в трех городах: Воронеже, Туле и Борисоглебске Тамбовской губернии — не такая уж, видимо, хлебная торговля была, но это все же какой-то уровень культуры — ведь не москательными товарами торговали...

Я думаю, что торговая деятельность удовлетворит человека, имеющего внутренние запросы более высокие, в конце концов не может. Ведь это узкий круг интересов: накопительство, внешнее



В. Н. Аносов. 1980 г.

благополучие. А чем дальше человек развивается, тем у него возрастают и запросы духовного порядка. И вот уже с моего деда начиная, купеческими делами Аносовы перестали заниматься. Этот переход — закономерность, отраженная и Горьким в "Деле Артамоновых", и вообще в литературе на примере многих семей.

— Изю всех толкований слова "интеллигенция" — а ведь объясняли его в разные времена по-разному — какое вам ближе всего?

— Вы знаете, я много над этим размышлял и ничего не придумал. Многие толкования сходятся в том, что это — люди, занимающиеся умственным трудом. Но ведь сколько мы знаем людей, которые формально под это определение подходят, но интеллигентами их никак нельзя назвать. Интеллигентность, я считаю, это прежде всего понимание и уважение интересов окружающих людей. Вот с этой точки зрения можно ли, скажем, Ленина назвать интеллигентом? В свете наших современных представлений о нем, о его отношении к людям, о его жестокости и т.д. — все это из ряда интеллигентов его, по-моему, вышибает. Хотя он и по образованию, и по рождению, казалось бы, должен им быть.

Пример противоположный, хотя и не столь известный. Я хорошо знал в Орледе (деревни этой сейчас уже не существует), а потом

в Луневе Сергея Павловича Осипова и его жену Евфалию Николаевну. Они оба с начальным образованием, оба — бакенщички. Но я общался с ними много лет, видел их отношение и к детям, которых было у них восемь человек, и к окружающим, и ко мне, и моим друзьям. Конечно, разница в образовании, безусловно, сказывалась, но стремление Осиповых понять окружающих дает мне право называть их людьми "понимающими, разумными" — именно так переводится латинское слово, от которого пошло слово "интеллигент".

Интеллигентность и образование не одно и то же. Интеллигентность — способ общения, и это отнюдь не выставление своих интересов выше интересов окружающих. Поэтому вещизм, увлечение внешней атрибутикой: одеждой, обстановкой, квартирой — самое махровое проявление мещанства. Если интеллигент, то не мещанин, а мещанин, конечно, не в сословном понятии, а в человеческом, не может быть интеллигентом. У мещанина главный принцип: если не я буду для себя, то кто будет для меня?..

— Но сейчас предпринимаются попытки мещанство реабилитировать..

— Мало ли что сейчас делают. Впрочем, не будем об этом. Как Алексей Толстой писал:

*Ходить бывает склизко
По камешкам шлям,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим.*

— Но вот, по мнению Козьмы Пруткова (как известно, в эту компанию входил и А.К.Толстой), "специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя". Не кажется вам, что сегодня этот флюс явно прогрессирует?

— Ну как же не заметить? Особо если вспоминать Кострому первых лет моей жизни здесь. Наблюдалась буквально вспышка культурной жизни, а плодородной почвой для этого была широта интересов здешней интеллигенции.

В Костроме был создан университет, и так как в Москве было



очень голодно, московская профессура охотно приехала сюда. В большом зале бывшего Дворянского собрания не хватало мест, когда здесь читали лекции, скажем, крупный специалист по литературе Возрождения, впоследствии академик Владимир Федорович Шишмарев, профессор Алексей Николаевич Некрасов и Александр Оливьеревич Сакетти. А вот на медицинском факультете была ли заезжая профессура — не помню, но главным образом он обслуживался ведущими врачами города. А врачи были здесь очень сильные, они жили дружно, каким-то образом были общественно объединены. И я, помню, с удовольствием ходил на различные выступления, которые устраивались врачами.

Концерты классической музыки устраивались и в консерватории (нынешнее здание санэпидстанции). А когда появился в Костроме квалифицированный и широко образованный музыкант Борис Александрович Федоров, большой энтузиаст, он был как свой принят среди местной интеллигенции. Именно на нем держалась появившаяся в Костроме опера. Ведь надо было огромную репетиционную работу провести с очень пестрым составом исполнителей. В опере наиболее запомнились мне А.М.Шишмарева, жена профессора, хорошее драматическое сопрано, обладавшая к тому же умением прекрасно держаться на сцене, хорошие басы Знаменский и Волгин, два ведущих тенора: ученик известной певицы Покровской Н.С. Языков и любитель А.Ф. Розов, врач, дядюшка нашего известного драматурга, с хорошим голосом, но безо всякой школы.. Не буду перечислять всех, хотя я их помню, помню и все спектакли, несмотря на то, что мне было 15-17 лет, когда два раза в неделю на сцене Костромского драмтеатра шли оперные спектакли: "Русалка", "Ночь перед Рождеством", "Борис Годунов" и другие.

— *Фантастика!*..

— Это теперь кажется фантастикой. Хотя, справедливости ради, скажу, что в 1922 году к нам

на гастроли приехала группа ведущих певцов Мариинского театра, и когда после петроградцев я пришел в нашу оперу, подивился: куда же девались голоса?.. И все же костромской опере я очень благодарен: это был большой этап моего музыкального развития, да и вообще в культурной жизни города.

А вот когда сравнительно недавно я пришел в Москве на "Смерть Иоанна Грозного", мне постановка Андрея Попова, с этим прекрасным актером в главной роли, совсем не понравилась. Я сидел в столичном театре и вспоминал эту драму А.Толстого, поставленную в Костроме в дни моей далекой юности врачом Словачинским. И в конце концов так и ушел, недосмотрев нынешний спектакль. Вообще передвижной показательный театр, созданный страстным любителем театра детским хирургом Борисом Мариановичем Словачинским, — явление совершенно замечательное. До сих пор помню его "Самоуправцев" Писемского, прекрасную постановку "Овода" Войнич. А ведь труппа театра была составлена тоже из местных любителей, но как это не похоже было на то, что сейчас называют самодеятельностью...

И ведь все это: и оперная студия и театр Словачинского, а потом и студия Алексея Попова — все это держалось прежде всего на энтузиазме участников. Для них подспудно это было все то же служение народу. И позднее, когда Федоров уехал из Костромы, до 30-х годов существовала здесь опера,

организованная врачом В. И. Постниковым, которую так и называли: "врачебная опера".

— *Вас костромичи старшего поколения помнят как большого любителя музыки: без вашего присутствия не только ни один серьезный концерт не обходился, но и сами вы частенько садились за инструмент. Знаю, что во время войны даже руководили и джаз-оркестром...*

— Это, во-первых, можно сказать, наследственное. В семье всегда звучала музыка. Бабушка моя была профессиональной учительницей музыки. Так что музыкальную литературу я знаю довольно хорошо.

— *А другие виды искусств в вашей жизни?..*

— Я на всю жизнь запомнил, как К.М.Шестаков, преподававший нам в Ивановском политехническом рисование, начал первую лекцию такими словами: "Один мудрец сказал, что жизнь без труда есть воровство, а жизнь без искусства есть скотство". И я думаю, что любой человек, кото-

Политпросвет Подотдел НОНО
МУЗЫКАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРА.
Вторник 2-го Ноября.

Повторение концерта
данного для делега-
тов X съезда

БОЛЬШОЙ

Повторение концерта
данного для делега-
тов X съезда

КОНЦЕРТ

— ПРИ УЧАСТИИ —

ХОРА Дома Искусств, ГОСТИНОГО ОРКЕСТРА Горттеатра, и ГОСТИНОГО
ВСЕЙ БАЛЕТНОЙ СТУДИИ ГУБНАРОБРАЗА

и артистов: Е. С. Чудомовой, А. Ф. Ивановой, Н. М. Ватрамовской,
М. И. Удальцовой, А. Ф. Розова, А. А. Знаменского и М. М. Чудомова.

Уроля Б. Я. Федоров и О. Я. Холмисткая.

НАЧАЛО В 7 Ч. ВЕЧЕРА

Цены местам от 237 руб 50 коп. до 95 руб.

Билеты проданы в кассе Горттеатра от 4 до 9 час.

Концертная афиша. 1922 г.

рый считает себя принадлежащим к культурному слою общества, не может не пользоваться этими благами культуры. Это тоже общение с окружающими, искусство его существенно расширяет и обогащает. Это просто форма существования интеллигентного человека.

Моим другом детских и юношеских лет был Михаил Горшман. Вот на стене, кстати, некоторые из его работ, другие я отдал Костромскому художественному музею. С юности мои любимые художники — французские импрессионисты. С большим уважением, разумеется, отношусь к русским передвижникам. И абсолютно не понимаю "Черный квадрат" Малевича, хотя пытался долго.

Что касается литературы, она все время была со мной, начиная с детских книжек. Правда, сейчас выработалось недоверие к современной беллетристике, где придуманные герои, не всегда мне интересные, и точка зрения авторов мне тоже не интересна. Сегодня у меня явный перекос в сторону мемуарной книги. Здесь я беседую все-таки с живым человеком. Может он мне нравиться или не нравится, но во всяком случае здесь передо мной правда, а не вымысел, да еще иногда сделанный по заказу соцреализма или какого-нибудь еще литературного направления. Кстати, почти в каждом современном произведении встречаю погрешности против истины. Я объясняю это чаще всего недостаточным культурным уровнем автора. Когда автор, скажем, пишет, что в 1867 году какой-то сибирский купец обратился к цесаревичу, будущему императору Александру II, я перестаю ему верить. Если он не знает такой элементарной вещи (а речь в данном случае о Пиккуле), значит, и в остальном мне наврет...

— Вероятно, это тоже следствия падения общего культурного уровня в обществе. Вас это не пугает?

— Это безусловно присутствует, но я оптимист. И здесь мы вступаем в некоторое противоречие с закономерностью, в которую мне очень хотелось бы ве-

рнуть. Если каждое поколение становится хуже предыдущего, значит, человечество регрессирует, идет на уничтожение. С этим я согласиться не могу. Когда, скажем, я был в зрелом уже возрасте и знакомился с учебниками, по которым учился мой отец в гимназии, я увидел колоссальную разницу того объема знаний по физике, химии, которым обладал отец, и того, который преподносили нам. А если сейчас сопоставить то, чему меня учили и чему учат теперь, — опять же вещи несравнимые. Я считаю, что каждое следующее поколение должно быть лучше предыдущего во всех смыслах: и по глубине знаний в области своей специальности, и по общему культурному, интеллектуальному развитию. Но этот процесс не идет равномерно: тут и спады, и подъемы. Развитие человечества вообще сложная кривая.

— Всеволод Николаевич, напоследок еще такой, может быть, личного характера, вопрос: как вы в девяносто лет сохранили такую форму, что продолжаете еще успешно работать? Нет ли каких секретов?

— Абсолютно никаких. Каме- нотес до девяноста лет работать, безусловно, не может. А умственный труд?.. От того, что ноги болят, голова у меня не болит. Я думаю, надо благодарить, что Господь не дал мне склероза, вернее, если он у меня есть, то развивается не так бурно, как у других, которые рано теряют интерес к жизни.

Хотя (вспомню — пусть это для кого-то послужит уроком) я в свое время почему-то думал, что проживу 66 лет, поэтому, когда незадолго до этого срока меня уговаривали написать учебник, я отказывался: зачем начинать, если скоро умру. Но вот так получилось, что я не помер, а учебник оказался ненаписанным...

Беседовал
Владимир СМОРЧКОВ

Имеет сообщать



НА СЦЕНЕ — АНТРАКТ, В АНТРАКТЕ — ВЫСТАВКА

Костромскому театру, кажется, понравилось забавляться самому и забавлять зрителей. После классической "Русской забавы" по Писемскому на сцене появился современный "Веселый антракт" по Симакину. С анекдотами, пародиями, викторинами и другими забавными и не очень вещами, сопровождаемыми шумом и смехом. А еще — дымом, который был не так сладок, но все-таки приятен, потому что в нужное время из него выныривали то клоунская группа "Тютелька в тютельку", то очередная эстрадная звезда. Некоторые пародии были действительно хороши, например, Виктор Викторенко мадо чем отличался от любимца публики Александра Буйнова. Запомнились также Татьяна Никитина-Пугачева и ее родня Марина Виноградова-Пресняков, а еще доктор-сантехник Дмитрий Кромский, многоликий Эмиляно Очагавия и, конечно, Владислав Гостищев, который не захотел больше быть царем, а стал баушкой с авоськой.

А в настоящем антракте публике ждало более серьезное зрелище — персональная выставка главного художника театра Бориса Голодницкого. В мраморном зале собрались вместе такие разные и чем-то /наверное, творческой фантазией художника/ похожие персонажи из "Белых ночей" и "Василисы Мелентьевой", "Декамерона" и "Ромула Великого". Подобная выставка, заметим, в костромском театре представлена впервые, и, право, жаль, что случилось это уже под занавес театрального сезона. Впрочем, выставки, как и забавы, имеют хорошее свойство повторяться.



МЕЛЬНИЦА ПОД ИЛЬЧИНСКИМ

ПУТЕШЕСТВИЕ НЕПОДАЛЕКУ ОТ КОСТРОМЫ

...Идея проехать по Костромской области на велосипеде была, конечно же, достаточно безумной. И не просто проехать по дорогам, нет, возникло желание пробраться на северо-восток области "напрямик", по лесам и болотам, по ази-муту.

Время шло, а желание померяться силой с лесами не проходило. Уже и отпуск подступал, исподволь оборудовался велосипед, а окончательной уверенности все не было. Во мне жили как бы два человека: один упорно рвался вперед, на северо-восток, рисовал карты маршрута и покупал крупы, другой — сомневался, колебался, воображал себе непреодолимые трудности...

...А погода, между тем, стояла великолепная! С ясного неба исправно грело солнышко. Ласточки резали воздух в свободном полете. Поступали первые сведения о появлении в лесу грибов. Рыбаки приезжали с речек полные впечатлений.

И я решился! Решительно записал в уже полный рюкзак плавки, отобрал из общей кучи еще два своих любимых поплавка и стал увязывать багаж на велосипеде.

И то сказать, колебаться больше было некуда. Шел четвертый день отпуска. Нужно было ехать или сейчас, или вообще не ехать.

Пока я выводил своего железного коня во двор, небо вдруг нахмурилось. Поскольку перед этим в течение месяца на землю не упало ни дождинки, в дождь не верилось. Все просто отвыкли от дождя как возможного явления природы. Однако небо пыталось напомнить нам об этом.

Но пока все шло хорошо: хмурое небо само по себе, я — сам по себе. Я бодро крутил педали, шу-

стро продвигаясь по дороге на Судиславль.

В Никольском остановился. Купил в магазине хлеб, чем упротчил свои запасы, не очень, впрочем, обременив велосипед. Предчувствие неизведанных троп, лесов, ночевок у костра гнало меня вперед. Поэтому я не стал особенно прохладиться в Никольском и смело вступил в лесок на окраине этого поселка, придерживаясь северо-восточного направления.

Дорминдонт Геннадьевич Крылов — кандидат биологических наук, доцент Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Направление научной деятельности — фауна Костромского края. Известен своими публикациями в периодической печати по проблемам экологии, пишет также фенологические заметки и рассказы. В "Губернском доме" печатается впервые.

Едва я вступил на опушку леса, пошел дождь. Черт возьми! Стоило мечтать о походе, задыхаться весь июль в городе, чтобы первый же день путешествия начинать под дождем!

Но отступать уже было поздно. Если я вышел в этот поход, то ничто не смогло бы поворотить меня назад. Опять же: на дворе август, не октябрь. Ну, побрызжет дождь — и перестанет. Небось не сахарные!

Между тем дождь и не думал кончаться. Напротив, он все уси-

ливался и усиливался. К тому времени, когда я, преодолев полосу кустарников, добрался до приличного леса, я успел основательно вымокнуть. Мочило меня и сверху и сбоку: уж эти мне кустарники! Так и норовят облить водой! Оставалось только выбрать елку погуще и расставить под ней палатку.

Я так и уснул под шум равномерного дождя. Говорят, в этом есть своя прелесть и даже полезность.

Утром лес исходился капелью. Рваные облака стремительно неслись над вершинами елок. Деревья шумели. Видимо, непогода решила установиться всерьез.

Азимут "северо-восток" продолжал во мне действовать с немумолимостью рока. Но, промаявшись часа полтора, опять вымокнув среди кустов, я понял, что забираюсь все глубже в болото. Карта, так предусмотрительно составленная еще в городе, говорила, что на моем пути располагаются обширные мокрые пространства верховьев реки Шачи — притока Костромы.

...Ничего не оставалось, как ретироваться назад, что я и совершил вполне благополучно, в конце концов выбравшись в район поселка Кирова.

...Вы когда-нибудь пробовали ездить на велосипеде по шоссе? Да еще с грузом? Да еще в дождливую погоду? По шоссе, когда беспрестанно обгоняют машины, норовят то и дело облить тебя грязью?

Если ездили, то представляете, что мне пришлось вынести на дороге от Кирова до поворота на Раслово, что перед спуском через реку Мезу.

...Все же я добрался до Раслова



благополучно, свернул с главной дороги налево и углубился в пространства колхоза имени Ильича.

Вот уже и Раслово позади, и Белобородовская ферма, по уши заваленная навозом, проплывает мимо. Впереди довольно крутой уклон — к Ильинскому. Перед Ильинским широкой дугой изогнулась Меза. А за ней — леса, леса и леса! Сердце мое возрадовалось, я дал волю велосипеду и лихо вкатил на мост.

... Ах, эти пейзажи среднерусской полосы!

Небольшая деревушка раскинулась по склону берега. Среди домов — остатки церкви. Когда-то этот населенный пункт гордо назывался "Село Ильинское". Заросшая травой и захламленная мусором Меза. Вытоптаный пойменный луг, превратившийся в скверный выгон. Стадо коров с замызганными навозом боками. И сам пастырь — на тощей лошаденке погоняющий скот. В воздухе висит зычный мат.

...Где она, идиллическая пастораль с пастухами и пастушками, с пением рожков и запахом парного молока?

...И опять небо прохудилось. Ночевать в лесу меня что-то не потянуло. Я оглядел окрестности еще раз. Неподалеку от моста, напротив деревни я увидел дом явно нежилого свойства. Но крыша на нем еще держалась. Прекрасное место для бродячего туриста! И я повел своего рогатого железного коня на вторую стоянку.

Я не ошибся в выборе: ночевка получилась отличная! Хотя в доме не было окон, но часть пола, примыкающая к разрушенной печке, еще сохранилась. Я постелил палатку на пол, прикрыл ее спальным мешком, развесил на остатки печки мокрые одежды — и вот, пожалуйста! — почувствовал себя очень уютно. Снаружи косой дождь сек окрестности, а я сидел в сухом месте. И ветер до меня не добирался.

Утром я проснулся от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Я открыл глаза. В упор на меня смотрела коровья голова, просунувшаяся в окно. Вдруг в сосед-

нем помещении, — я чуть было не сказал: "в комнате", — резко застучали железом по железу. Голова скрылась. Но взамен этого я понял, что в доме кто-то есть.

Я поспешно вылез из спального мешка, кое-как привел себя в порядок и заторопился через порог. Как-никак, у меня в доме были гости! В соседнем помещении, где никаких признаков пола уже не было, на обрезке бревна, лежащего прямо на земле, сидел мужичок и старательно колотил железной помятую бочку. Мужичок тут же заметил меня.

— А! Проснулся! А я думаю, кто это в мою резиденцию пожаловал?

— Здравствуйте! — ничего более умного не смог вымолвить я.

— А я тут скотину пасу, — продолжил незнакомец. — Дай, думаю, приспособлю вещь под костерок. Оно и тепло, и от дождя удобно.

Я окончательно проснулся и только тут признал в мужичке пастуха, так громко оравшего вчера на коров.

— А вы откуда? — поинтересовался пастух.

— Из Костромы. Турист.

— Понятно. У нас тут редко туристы ходят. Да и то сказать, что у нас смотреть?

Так я познакомился с пастухом Белобородовской фермы. Костерок мы с ним все же соорудили. Попили чаю, поговорили о разных разностях.

От пастуха я узнал главное: дом, в котором я нашел приют, некогда принадлежал мельнику. И мельница рядом стояла, на реке. Потом мельник умер, а делами стала заправлять его жена. Долго она здесь жила, держала хозяйство, растила детей. Дети выросли, разъехались. Дом обветшал. Мельничиха уехала к дочери. Говорят, сейчас живет в городе. С тех пор мельницу забросили.

...Пастух ушел вслед за стадом. А я остался наедине с дождливым днем.

...Непогода поневоле обрекла меня на безделие. Время тянулось медленно. Глаза, не занятые кру-

гооборотом жизни, сами искали, ощупывали объекты наблюдения...

...Вот старый дом, остов бывшего жилища. Когда-то в нем жили люди. Они о чем-то мечтали, на что-то надеялись. Этот дом согревал их в зимние холода, хранил от непогоды. Теперь же, когда появилась возможность видеть стены дома как бы насквозь, приходится только удивляться, как же они тонки, эти стены, какая это хрупкая защита от неласковой северной природы.

Он действительно был старым, этот дом, еще в те времена, когда в нем теплилась жизнь. Пазы между бревнами для сохранения тепла хозяева старательно промазали глиной. А поверх глины кое-где пришлось набить планки. Так прочнее и, опять же, теплее. Узкое место многих старых жилищ — места сочленения косяков рам и дверей со стенами. В такие места, чтобы не дуло, заткнуты тряпки, войлок и даже мох.

Былые комнаты неоднократно оклеивались газетами и обоями. Пришлось провести даже небольшое исследование: самая древняя газета из сохранившихся на стенах была выпущена в свет 31 октября 1954 года. Это была наша родная "Северная правда".

Старый дом, особенно деревянный, где много закутков для всякого отслужившего свой век хлама, много может рассказать о своих бывших обитателях.

Вот во множестве валяются помятые конверты. Почти все они на имя Батуриной Марии Ивановны. Так без особого труда я разгадал имя хозяйки дома. И множество открыток маме от детей. А дети эти носили самые обычные имена: Саша, Нина, Коля, Таня. Из этих открыток можно узнать даже имена мужей и детей бывших птенцов, обитавших на мельнице. Так, у Нины муж был Лева, а дочь — Леночка, у Тани дочку звали Лариса.

...В этих именах — история нашего простого и доброго народа.

Обычные имена обычных людей: Мария, Наталья, Александра, Пелагея, Елена, Анна,

Ольга. И как высшее выражение нежности звучало имя Любовь.

Это все Русь, глубинная, деревенская. В городе имена приобретают расцветку, вычурность. Представьте русскую крестьянку с именем Светлана? Или Лариса? Нина? Марина? Немыслимо. И уж совсем чудные нам имена появляются в последнее время: Нинель, Нонна, Жанна, Анджелла, Сюзанна, Вероника и другие, другие...

...Но это я так, отвлекся. Открытки дали мне и место, где я теперь оказался в качестве временного жильца: Дичевская мельница. Значит, было такое место в Костромской области, в Судиславском районе.

Прост и неприветлив был быт женщины, жившей одинокой деревенской жизнью: фонарь "Летучая мышь", керосинка, электрический фонарик, дужка от очков, будильник, отрывной календарь, заржавленный утюг, разрозненные газеты районного масштаба, квитанции уплаты за свет, квитанция уплаты за дрова, рецепты врача и страшное, возрастное — письмо из Костромского онкодиспансера с просьбой приехать на контрольный осмотр. И еще — сугубо личные, но волеи судьбы, видимо, неоднократно попадавшие в чужие руки — фотографии родных и близких. Будто смерч пронесся над домом Марии Ивановны: все пришлось бросить и уехать. Вместе с домом неодоушевленные свидетели ее жизни постепенно старели, терялись... А может быть, причина этого — письмо из онкодиспансера?

Да, фотографии... Полуостертая фотография двух пареньков и двух девчонок. Девчонки гораздо ниже ростом, чем юноши. Одна из девчонок в платье до колен, другая — в чуть более длинном платье. Обе девчонки круглолицые, совсем еще юные. У той, что поменьше, оттопырены уши, короткая стрижка и какой-то чуть старушечий прикус рта. У второй, чуть повыше, прическа попышнее, она большеротая и курносая. Может быть, это Саша, Коля, Нина и Таня?

А вот уже юноша постарше. В

пальто и в зимней шапке. А вот тот же юноша в солдатской форме. На обороте фотографии обычная солдатская памятка: месяц, число, год. И подпись "Север!". С восклицательным знаком. Есть еще фото юноши в свитере и пиджаке. Наверное, это второй сын Марии Ивановны.

Хорошо прослеживается судьба Николая. Пытался учиться в профессионально-техническом училище. Первые записи на занятиях вполне вразумительные. Что-то по стали и чугуну. Здесь же правила чтения чертежей. Может быть, его учили на литейщика? Профессия вполне достойная. Но часто мы ленивы и нелюбопытны в учебе. Наставники у нас, что ли, небрежные?

Вскоре в тетради появляются скабрзные рисунки. И подпись: Батурич. Потом несколько листов тетради замарано бесконечными штампами "ВЛКСМ. Уплачено". Свидетельство, что юноша был, видимо, комсоргом, но к комсомолу относился спустя рукава. Тут же проблескивает некая искра божия: Коля пытался в той же тетради писать стихи. Но искра погасла, даже не прочадав. Понять что-нибудь в этих так называемых стихах невозможно.

Где-то в период его пребывания в ПТУ приходит предписание явиться в военкомат за получением военного билета. Очевидно, за этим следовала армейская служба, отзвуки которой мы уже видели на фотографиях.

А потом, а потом... Это уже много позже, когда и армия позади, а стремления к труду все нет. Есть только жизнь в угаре. Это я понял из заявления матери Николая в нарсуд, в котором она просит разрешения навестить сына в месте заключения. К тому времени Николай был в тюрьме уже больше месяца.

Такую долю выбрал сын Марии Ивановны. После этого следы Николая на старой мельнице теряются.

Почти не осталось материальных следов от второго сына Марии Ивановны Александра. Из открытки, которую мне удалось

найти, я узнал только, что жил он в Мангурове. Открытка была послана матери по случаю праздника 1-е Мая.

Разрушающийся дом не подарил мне и свидетельств о пребывании в нем Тани, таинственной Тани, которая изредка присылала матери открытки. Жила она в каком-то неведомом Большебыкове.

Видимо, дольше всего с матерью жила дочь Нина. Чем только она не "наследила" в родном доме! Это и учебники, и бесконечное число ее школьных тетрадей, и всякие выкройки, и рисунки, и стихи, и даже сочинения на разные темы. Чувствуется, что здесь жила девочка, девушка, будущая женщина. Справедливости ради надо сказать, что именно Нина — от себя лично и от Левы и Леночки — чаще всего писала матери. Есть такие удачливые дети, которые искренне любят своих родителей и всю жизнь живут с ними единными помыслами...

Именно Нина больше всего сроднила меня со своим бывшим домом. Те два дня, которые я провел в избе без окон и дверей, те два дня я чаще всего мысленно разговаривал с Ниной, представлял ее голос, походку, ее улыбку.

Вот ее альбом. Альбом аккуратно подписан: Батурина Нина, Ильинская школа. Альбом открывают чертежи, выполненные, надо полагать, на уроках черчения и дома. Ничего чертежи, старательные. Чертежей много, но все же к концу года в альбоме осталось достаточно свободного места. Не пропадать же добру! И Нина завершает альбом рисунками.

Вот девочка в платье в продольную полосочку. Глаза у девочки синие, волосы желтые, есть косички, перетянутые белыми бантиками. Девочка накрашила губы, а на груди у нее какой-то бесформенный значок. Ну просто прелесть девочка!

А вот целая картина: дом, цветы, забор, берег реки. На берегу реки лежит некто голый, загорают. Рядом брошены рубашка, трусы, майка и штаны. Уснул, бедняга! (Пояснение: "Хр... Хр...")



го из этого не вышло. Татьяна вынуждена была выйти замуж за старика. Потом Онегин спохватился, но Татьяна осталась верной своему мужу".

...Я думаю, что Пушкин не должен обижаться на Нину — ученицу далекой деревенской школы: она ничуть не исказила его мыслей. И если милая Татьяна Ларина мечтала о счастье, то разве не позволительно то же девочке Нине Батуриной?

Между тем незаметно подкрался вечер. Углы старой мельницы потемнели, скрыв убожество помещения, давшего мне временный приют. Я перестал различать строчки на тех еще немногих листах, что еще не были просмотрены мною.

Скромный ужин немного развлек меня, после чего оставалось только смотреть, как засыпает природа. В такие часы начинаешь сожалеть, что отправился в поход без хорошего товарища. Именно сейчас он очень нужен: обсудить прошедший день, спланировать следующий.

Ночью дождь кончился. Пойму реки заволок густой туман. А над кромкой тумана, над полосой заречного леса засветился, как дого-

рающая свеча, ущербный лик луны.

Утром сквозь туман солнце едва угадывалось. С горы прошло белобородовское стадо. Уже знакомый мне пастух опять кричит на коров, выбирая самые соленые выражения. Коровам, видимо, это нравится. Возможно, они и не мыслят пастыбы без этих криков?

Трава вокруг дома изнемогала от недавнего дождя и выпавшей росы. Чтобы разжечь костер и вскипятить чай, мне пришлось взять доску с крыши бывшего погреба, что расположился неподалеку.

...Прости меня, неизвестная Нина, что я внес свой вклад в разрушение твоего дома! Зато я выраблужу лопухи вокруг. Пусть еще хоть ненадолго вокруг твоего дома будет чисто.

Костер догорал. Отправим в него все найденные мною бумаги. Пусть никто больше не прикоснется к судьбе этих людей.

Перед отъездом я постоял возле старого жилища. Вышел на берег реки. Река все так же плыла мимо. Под наклоненными головками прибрежных цветов спали шмели. Они еще не пришли в себя после дождя. Стояла тишина...

Имею сообщить



ЦЕТИНЬЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДРУЖБУ

На День города костромичам сделан был подарок. Приукрашенная Сусанинская площадь принимала гостей из Черногории.

Новое побратимство (в 1987 году Кострома и древняя столица Черногории Цетинье закрепили свою дружбу подписанным договором) — это хорошо забытое старое. Еще в середине прошлого века русский человек Павел Ровинский, уроженец Саратовской губернии, написал первую историю этой маленькой свободолюбивой страны, которая стала его второй родиной. Всего шесть томов сочинений он посвятил рассказам о связях России и Черногории.

С тех пор много воды утекло, и кто знает, может, на костромской почве родится новый русский, способный углубить ослабевшие связи. По крайней мере выставки, которые привезли наши побратимы в Кострому, позволили не только узнать много интересного, но и восхититься тем, как они умеют хранить и продолжать традиции предков. Это и искусство книгопечатанья, 500-летие которого недавно широко отпраздновалось в Черногории. Это и бережное, любовное отношение к обычаям, обрядам, закреплённое в национальной одежде и облике черногорца. Этнографическая выставка в помещении Дворянского собрания произвела сенсацию. Такого богатства, в материальном и духовном смысле, давно не приходилось видеть. Златом и серебром сверкали торжественные мужские и женские наряды, старинное инкрустированное оружие, головные уборы, кисеты и пояса. Ювелирные украшения, произведения прикладного искусства второй половины XIX и начала XX века дополнили поэтический образ прекрасной страны. Скоро, в сентябре, увидят ее счастливицы из Костромы, и не во сне, а во время ответного визита к побратимам.



ФАНТАЗИИ НА ШЕЛКЕ И АНГЕЛ НА КРЫЛЕ

В новом выставочном зале Дома народного творчества каждый месяц теперь гостят новые работы.

Ангел ночи — ангел хранитель. Он качает наши фантазии на крыльях своих, тоскуя вместе с нами и скорбя о разрушении гармонии мира... Закаменевший будто бы ангел и другие скульптуры Александра Еремина и впрямь напоминают мотивы каменной древнерусской скульптуры. Язык этих работ столь же лаконичен и строг. А с другой стороны — изящество, с каким автор пытается запечат-

леть некий архитип культуры, игра "вторых" смыслов делают даже утилитарные вещи маленькими поэмами. "Август" — посмотрите, по небесной реке плывет или летит птица с колокольцами? Звук и свет струятся по небу ли, по воде? Поминание и воспоминание о тех, кто ушел в мир, где нет теперь им неба и земли, — в стихию пространства. А так — это просто подсвечник.

Миниатюрная деревянная мозаика в раме Сергея Чернова — "Сельский храм", "Разрушенный храм", его же мальчик с луком —

тоже, если искать в этих работах не только внешний план, о вечном и неразрушимом.

От строгости дерева поднимется взгляд к строгости прохладного шелка, живущего уже по другим законам — фантазии художников батика. Вот палантины, шарфы и купоны, платочки, панно и другие атрибуты дизайна, украшающего быт человека.

Но если есть талант, границы утилитарного делаются сомнительными и просто исчезают. Живопись на шелке — древнее искусство. А батик один лишь из спосо-



А. Еремин. "Ночной ангел", дерево.



А. Еремин. "Август", дерево, керамика.



В. Бауров. "Храм", батик.



Т. Камшилова. "Душа", батик.

бов, как "разговорить" внутреннюю теплоту и свет этого материала. Авторы выставки — Татьяна Камшилова, Валерий и Ирина Бауровы уже давно работают вместе, но это их первая профессиональная встреча с костромским зрителем, в Костроме они живут недавно. Тем ценнее возможность для нас узнать новые имена.

Батик Татьяны Камшиловой музыкален. И дело не только в названии работ — "Музыка ветра", "Музыка света", "Музыка воды". Ее работы пытаются догнать утекающий звук, свет — любое движение жизни, ее неуловимую вибрацию и изменение качества. Это триптих "Из жизни одного дерева", "Зимний день", "Лето". Сиреневато-лиловая, изумрудно-синяя гамма цветового пятна завораживает магией своей глубины, которая вам покажется пра-средой, творящей жизнь. "Душа" — так назвала Камшилова цикл, где она пытается выразить свое понимание волнующих загадок человеческой природы. Духовный рос-

ток кем-то посеянного семени - из шелка в шелк ветвится он. То это растущие вверх кроны прекрасного дерева души. То "листопад души" — состояние увядания, разлома, раскола — утраты гармонии и красоты внутреннего мира.

Батик Ирины Бауровой живописен — здесь натюрморты и пейзажи в красивых рамах, радующие взгляд и передающие тепло плодоносящей осенней стихии — "Золотая осень", "Август" и другие.

Работы Валерия Баурова философичны и концептуальны — "Ностальгия", "Кувшин красной глины", "Долгая одиссея морских черепах"... На мой взгляд, эти такие разные работы объединяет все та же главная мысль — об утраченной цельности и полноте человеческой природы и жизни. Черепки разбитого кувшина. Нагретый полуденным солнцем угол старой избы. Оберег — утица и перо жар-птицы... Разорванные образы когда-то прекрасного в своей самодостаточности и единстве мира.

Может быть, эти образы помогут нам, зрителям, приподняться хоть на время над суетой быта наших забот и что-то изменить внутри себя в сторону света.

*Выставку смотрели
Татьяна ГОНЧАРОВА
и Георгий БЕЛЯКОВ*

Спешим уведомить



Новый выставочный зал на Советской, 50 познакомит вас в этом году с интересными работами мастеров из фондов Дома народного творчества, промышленной выставкой художественного стекла с участием авторов из г.Гусь-Хрустальный. Здесь состоится выставка народной игрушки с приглашением мастеров из Каргополя, Дымкова и других традиционных школ.



В ДОМЕ НА ИВАНОВСКОЙ

Имя Леонида Андреевича Колгушкина хорошо известно костромским краеведам и любителям старины. Его рукописными книгами, так до сих пор никем и неизданными, зачитывались и Александр Григоров, и Виктор Бочков. Пользовались его записями-воспоминаниями многие. Чтобы лучше понять время. Почувствовать атмосферу жизни и быта Костромы начала и середины века. Найти в этой "летописи" удивительные, никем, кажется, кроме Колгушкина не записанные, подробности будничных и праздничных дней.

А кому бы еще пришло в голову записать городские былички и небылицы той поры, чудачества местных богачей и блаженных юродивых. Или вот так — оживить в лицах типы, канувшие в вечность — водолеев, тряпичников, извозчиков, волжских зимогоров, городских, дворников... Вереница маленьких, незаметных, казалось бы, для большой истории людей. Но как интересна ее мастерская, где каждый день что-то пилят, строгоют, строят, метут, скребут — и муравейник жизни звенит вопреки всему.

Сегодня, начиная публикацию глав из "Семейной хроники" Леонида Андреевича Колгушкина, "Губернский дом" приглашает вас, читатель, перелистать вместе с нами этот семейный альбом. Когда в прежние времена ходили в гости, то за разглядыванием таких альбомов проходил не один час, в приятной беседе и воспоминаниях.

Под старинными часами с боем, которым уже 150 лет, мы беседуем с вдовой бытописателя Еленой Ивановной Колгушкиной.

Из тисненого фотоальбома Елена Ивановна достает снимок, где дом их стоит таким молодцом — играет резными бровями причудливых наличников, упираясь в улицу тесовыми воротами в елочку с кружевным верхом.

— Елена Ивановна, сегодня, к сожалению, семейные гнезда редко сохраняются. Расскажите о судьбе этого дома.

— В 1901 году Андрею Ивановичу Колгушкину ярославский предприниматель Дурындин предложил открыть в Костроме несколько пивных лавок и склад с розливом пива "Новая Бавария". Семья Колгушкиных переехала в Кострому и сразу же начались хлопоты о постройке своего дома.

А давайте я вам найду это место в воспоминаниях Леонида Андреевича из семейных хроник...

Погружаться с Еленой Ивановной в это чтение — одно удовольствие. Переносит оно нас лет на 90 назад, в измерение, где еще стоит в доме старый ореховый стол под тяжелой шерстяной скатертью. Где золоченый багет картин празднично сверкает под матовым абажуром в виде тюльпана. В доме на Ивановской новоселье. По детским впечатлениям со смешными подробностями записал это Леонид Андреевич Колгушкин.

— А как потом сложилась жизнь семейства в этом доме?

— Андрей Иванович не успел поднять здесь детей. Он умер рано, в 1909 г., и все четверо, две дочери и два сына, остались на иждивении матери, которая трудилась с зари до зари. Мама сти-

рала, готовила на постояльцев — весь дом сдавался под квартиры городским чиновникам и девицам епархиального училища, а семья ютилась во флигеле.

Дом на Ивановской стал кормильцем семьи и позволил дать детям приличное образование. Брат Леонида, Володя, окончил мужскую гимназию на Муравьевке, а две сестры Женя и Лиза, — Григоровскую гимназию. Когда случилась революция, сестры уехали из родительского гнезда, побоявшись, что их будут преследовать как домовладельцев. Одна вышла замуж в Новосибирске, другая — в Ростове. Володя в 1919 г. погиб во время гражданской войны где-то под Казанью.

А Леонид закончил юнкерскую школу, около года проучился в Москве в Александровском военном артиллерийском училище и был приписан к 202 полку, кото-



Леонид Колгушкин — юнкер Александровского военного училища. 1917 г., Москва.

рый стоял в Костроме. Он не смог оставить родительский дом и в годы мытарств, когда в 18-м и 19-м году, как бывшего царского

офицера, его два раза сажали в тюрьму. Пришлось узнать даже, что такое камера смертников. Но Бог миловал, власти в эти годы



Леонид Андреевич Колгушкин за месяц до смерти. 1971 г., Кострома.

еще не лютовали. Тогда в Костроме было много таких разжалованных офицеров. Никто не хотел брать их на работу из страха про-



Иван Леонтьевич и Анна Петровна Лапины с дочерью Леной. 1913 г.



Елена Ивановна Колгушкина. 1994 г.





Колгушкины среди педагогического коллектива и учащихся Костромской школы слепых. 1958 г.

слыть нелояльными к новой власти. Бывшие офицеры перебивались случайными заработками, в основном, грузчиками в речном порту. Организовали свою артель. Один сезон грузчиком проработал здесь и Леонид Андреевич. Спасло его то, что он был грамотный и красиво писал. Кто-то помог ему получить должность писаря-делопроизводителя в военкомате, а от туда была прямая карьера по милицейской стезе, где пригодилась выучка бывшего офицера. Он дошел до начальника отделения, но судьба милостиво уберегла его от дальнейшего повышения, которое в 30-е уже было бы опасно. Его переводят в комиссию по борьбе с беспризорностью (КО-МАНЕЗ). Устраивая голодных сирот по детским домам, Леонид Андреевич нечаянно открыл в себе учительское призвание. Он поступает в Ярославский учительский институт.

По его словам, он сам отдал этот родительский дом государству, тоже боясь общественного мнения и преследований. Колгушкин переехал в самую плохую квартиру дома, а в остальные комнаты подселены были рабочие бывшей Кашинской фабрики.

— Если не секрет, как вас судьба привела в этот дом?

— У Леонида Андреевича умерла жена. Он преподавал химию и директорствовал в школе слепых, где учителем географии, а потом завучем работала и я. Мы были очень дружны, и как-то естественно получилось, что я стала спутницей его жизни. 25 лет жизни было отдано заботе о слепых детях. Леонид Андреевич написал об этом целую книгу.

— Судя по тому, как бережно вы относитесь к воспоминаниям мужа, вы имеете представление о антикварной ценности его рукописных книг?

— Леонид Андреевич не раз мне говорил о том, как важно, чтобы костромичи помнили историю своего города, его улиц, знали праздники, которым радовались предки, принимали традиции, понимая, откуда они идут... Один раз, кажется, это было в 65-м, мы с ним даже ходили в местное издательство, но тогда там ответили, что нет возможности напечатать его очерки.

Ну, а вообще-то интерес — к истории и к чтению, наверное, достался мне от отца — Иван Леонтьевич Лапин был довольно известным в городе букинистом-антикваром. Из рук знаменитого Сытина получил он свое дело, был с ним близко знаком. Если

бывал в Москве, всегда останавливался у Сытиных. Когда папа умер, тот прислал деньги на памятный венок, вспомнив, как когда-то этот деревенский мальчишка был офеней, разнося по селам дешевые сытинские книжки. Корни Лапиных в Густомесово, где все они начинали простыми матросами на речных судах. Так было и с моим дедушкой, и с папой. А мама, Анна Петровна, урожденная Пестова, из семьи нерехтских огородников, которые кормились тем, что выращивали лук, морковь и возили в Кострому на рынок продавать. Вот в этом семейном альбоме запечатлены самые счастливые страницы жизни моих родителей.

* * *

— Сегодня дом на Ивановской постарел, Елена Ивановна...

— Знаете, все говорят, что дом наш скоро пойдет под снос. Старожилов выселят с Ивановской, дадут всем по однокомнатной железобетонной клеточке, и я больше никогда не услышу, как скрипят старые половицы нашего дома, как стучит парадная, теперь разбитая дверь. Мне 82. Обидно, конечно, на старости расставаться с дорогим гнездом, только по причине, что кому-то, немцам кажется, улица наша показалась престижной, и им разрешено осуществить свой проект архитектурной реконструкции. Прошу, опубликуйте снимок нашего дома. Хотят каменный особняк для богатых здесь построить — так пусть хотя бы знают, каким был этот дом век назад.

Беседовала
Татьяна ГОНЧАРОВА



Леонид КОЛГУШКИН

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

I.

«Я ежедневно слышу от родителей и няни Пелагеи, что мы скоро должны будем переезжать в наш новый дом на Ивановской улице. Нам, детям, к этому торжественному в нашей жизни случаю, конечно, надо готовиться заранее.

Мы с братишкой собирали все свои игрушки, складывая их в ящики. Все это делалось по несколько раз в день, т. к. игрушки, как назло, требовались то мне, то Володе.

Я знал, где это Ивановская улица и где строится наш дом, т. к. почти каждый день ходил с отцом на стройку.

Как раз в то же время наискосок строился такой же деревянный дом, в котором предполагалось открыть школу для девочек и назвать ее епархиальным женским училищем. Заглядывал я и туда. Земля под наш дом была куплена после сгоревшего дома у еврея ростовщика Галинского. Путешествуя на новостройку, я обогащал свою память новыми для меня словами, понятиями и явлениями. Здесь я видел строительных рабочих, которые во время "перекурки" подсаживались к нам на бревна, советовались с отцом, высказывали свои соображения, а отвлекаясь, много говорили о своей личной семейной жизни, о деревне, не-

справедливости начальства, о бедности и пр. Заходил на стройку и старик Галинский, большая седая борода которого мне очень нравилась, и я спрашивал отца, почему у него нет бороды, а растут только усы.

Тут же на строительстве я от кого-то узнал новость, которая произвела на меня большое впечатление. Говорили, будто бы Галинский нарочно сжег свой дом, так как очень дорого застраховал его в нескольких страховых обществах, а на пожаре подкупил пожарных, чтобы они похуже тушили. Я никак не мог понять, для чего нужно сжигать свой дом, а что такое страховка для меня совсем непонятно. "Папа, мы с тобой тоже будем сжигать наш дом?" — спрашивал я отца и тут же уже рисовал картину, как мы с ним соберем щепки, польем керосином и подождем, а пожарным дадим денег, чтобы они плохо гасили.

Наконец, дом был отстроен. Начались серьезные сборы и переезд. Имущество возили на лошадях Машке и Зорьке. Было очень много перевезено дубовых пивных бочек и каких-то ящиков, которыми заполнили весь каретный сарай.

Мы в доме заняли большую квартиру вверх, в правой половине. Самая большая комната с окнами на улицу была названа залом. Там поставили мягкий

диван, два кресла, шесть мягких стульев, обитых красивой материей с желтой, черной и красной расцветкой. Перед диваном был поставлен красивый, овальный, резной стол орехового дерева, который был покрыт тяжелой шерстяной скатертью, а на ней была поставлена большая 30-ти линейная лампа в металлической подставке под оксидированное серебро с барельефами и матовым абажуром в виде тольпана. Кстати сказать, зажженной эту лампу я никогда не видел. Среди потолка была повешена большая лампа "молния" на цепях с гирей и большим белым фарфоровым абажуром.

На стенах были повешены небольшие картины с видами Москвы в блестящих, золотых, багетных рамках. Между окнами на стенах были укреплены три бра, которые зажигались в особо торжественных случаях при приеме гостей. Рядом была столовая, далее по коридору одним окном во двор выходила наша спальня. Сестра Женя поместилась в маленькой комнатке над парадным крыльцом, а папа устроился в полутемной комнате против нашей детской. Мама спала с нами. Няня Пелагея устроилась на кухне за ширмой.

Вскоре справляли новоселье, но этот день я представляю плохо, так как нас к гостям не допустили и мы ограничились дан-



Дом на Ивановской. 1906 г.

ным нам угощением в детской комнате.

Помню только, когда ожидали гостей и зажгли в зале лампы, то они сильно накопили. Поднялась паника, открыли все окна и двери, спешно производили уборку.

В гостях были самые близкие друзья родителей: слепой отставной пехотный капитан Николай Антонович Василевский с супругой Екатериной Михайловной, сын фабриканта Михин Дмитрий Иванович, ростовщик-выкредит из евреев Павлов, проживавший на Ново-Троицкой улице, от которого мои родители, видимо, зависели материально. Он был в особом почете и часто заходил к нам запросто. Самым интересным для меня был мамин брат дядя Капитон, о котором я расскажу в следующей главе. Других гостей было много, но припомнить их не могу.

В новом доме нам на первых порах доставили большую неприятность блохи, которых с осени было видимо-невидимо. Они кусались не только ночью, но и днем. Все мы, включая и взрослых, чесались без всякого стеснения. Никакие опыления "арагацем" не помогли, пока блохи сами не прекратили к зиме своего нашествия.

Строя дом, мои родители собирались открыть собственный пивной склад с розливом пива разных заводов, для чего был под домом сделан каменный подвал с железными дверями, выходящими прямо во двор около черного крыльца четвертой квартиры, а рядом с каретным сараем, купленным вместе с землей у Галинского, был вырыт также большой подвал. Будущим квартиросъемщикам было построено пять дровенников с небольшими погребками в них.

Вверху над погребками, каретным сараем, конюшнями и флигелем под общей железной крышей был большой чердак для сена, склада различного скарба, а также для сушки белья. На этот чердак можно было проходить со стороны конюшен, а также с противоположного конца от дровенников. Там была сделана прочная лестница с перилами и площадкой-балконом. Это я описываю подробно потому, что этот чердак, а также подвалы служили местом наших постоянных игр и занятий даже и в более позднем возрасте, о чем я буду говорить ниже.

Особенно хороша была небольшая, новенькая деревянная банька, выстроенная в садике-огороде, около забора. В ней был уютный предбанник, каменка, полки, деревянные скамейки и деревянный большой чан для горячей воды. Нагрывался он посред-



ством чугунной трубы, пропущенной в топку печи. Особенно приятен был запах нового дерева, березовых веников и еще чего-то, что придает специфику бане. В этой баньке, кроме еженедельных общих помывок, по летам мы, дети, устраивали холодный душ, поливая друг друга из садовой лейки.

Воду в баню возил водовоз Иван Кочетов, а если этой воды не хватало, то ее приходилось носить с городской водокачки, которая была на углу Гимназического переулка и Русиной улицы.

Первую зиму мы прожили в этой квартире, а следующим летом нам пришлось переехать во флигель, так как мама весь большой дом сдала по контракту на два года епархиальному совету под училище за 1200 рублей в год. Те тотчас же приступили к переоборудованию квартир, снимая перегородки и расширяя помещения до нужного размера классных комнат. Осенью отца вызвали в клинику и мы остались одни с мамой и няней Пелагеей.

В то же время на Муравьевке началось строительство большого каменного дома для будущего епархиального женского училища, которое и было окончено в 1904 году, а наш дом освобожден. Между тем у моих родителей начался судебный процесс с фирмами Дурьндина и Агамца по поводу какой-то задолженности. Дело затягивалось, и родители с нетерпением ждали его разрешения в свою пользу.

Как водится, строили планы что и как осуществить на полученные по иску деньги. Так, по окончанию контракта с епархиальным советом необходимо будет отштукатурить квартиры изнутри, хорошо бы купить корову. Отец писал из Петербурга, что ему рекомендуют поездку на курорт в Старую Руссу, а маме со всей семьей хотелось побывать на родине в с. Шестикине.

Все это должно бы осуществиться, если дело с фирмой обернется в нашу пользу. Мы, мальчишки, мечтали также о покупке пугачей. Уж очень хотелось во-

оружиться красивыми, никелированными "браунингами", которые в то время продавались в игрушечном магазине Клеменова внутри гостиных рядов по 2 руб. 50 коп. Они нам были обещаны.

Первый год жизни на Ивановской улице остался мне памятным потому, как мы готовились и проводили праздник Рождества. На этот праздник мы ждали воз-

вращения папы из Петербурга, а следовательно, обновок и гостинцев. Мне шел уже шестой год и я считал себя большим, а потому старался держаться солиднее братишки Володи, иногда по некоторым хозяйственным вопросам мама со мной даже советовалась, а это мне очень льстило.

В обычные базарные дни она часто, потихоньку от Володи,



Андрей Иванович и Лукья Денисовна Колгушкины. 1886 г.

брала меня с собой на базар и по магазинам. Я во все вникал и ко всему присматривался.

Перед большими праздниками город оживлялся за неделю и даже раньше. Магазины заполнялись праздничными товарами, часы торговли увеличивались. Перед Рождеством оконные витрины красиво оформлялись разнаряженными елками, дедами-морозами, снегурочками, масками и различными украшениями. Этим выделялись аптекарские, галантерейные, игрушечные и парфюмерные магазины. Все лучшие мануфактурные и обувные магазины выставляли последний "крик моды". Колониально-гастрономические рекламировали на окнах и прилавках десятки сортов колбас, сыров, окороков ветчины, балыков, икру и всевозможные консервы.

Булочные и кондитерские украшения — окна большими сахарными баранками, ромовыми бабами, банкухенами, тортами, пирожными и красивым фигурным шоколадом.

Спускаясь к мясному ряду, можно было видеть в рыбном ряду горы мороженой рыбы, которую сваливали на брезент прямо у дверей магазинов.

Меня больше всего интересовала лавка Невского, торгующая битой и живой птицей и дичью. Около дверей перед праздником стояли целые поленицы мороженных гусей, маленьких поросят, зайцев в шкурках и без шкурок, а в магазине по всем стенам находились клетки с живыми курами, петухами, индюшками, гусями, утками, цесарками и прочей домашней птицей, на прилавке и по стенам были разложены и развешены глухаря, тетерева, рябчики, куропатки и прочая дичь.

Купить можно бы многое, но нужны были большие деньги, в которых основное большинство жителей крайне нуждалось, ограничиваясь лишь тем, что только любовались на все эти товары, покупая только самое необходимое для ежедневного пропитания.

Мы с мамой шли на базар с небольшой базарной сумкой.

Мама, благодаря своей умелой расчетливости и хозяйственной сметке, еще задолго до праздников умела подкопить "кругленькую" сумму денег и закупала все необходимое.

В мясной лавке Цыбина или Веселова покупала окорок, мясо и прочие мясопродукты, и мы выходили из лавки, ничего не взяв с собой. Товар доставляли на дом.

В мясной лавке я любовался на приказчиков, как они ловко разрубали мясные туши на обрубке дерева тяжелым и широким топором, издавая при этом характерный выдох: "А-ах".

Дома пробовал подражать, но у меня ничего не получалось. Мне тогда очень хотелось быть мясником.

В лавке Невского мы заказали поросенка и гуся, а глухаря я выпросил взять тут же с собой. Пробовал его нести, но это было мне не под силу, и пришлось нести его маме.

По пути в рыбной лавке В. Н. Скалозубова купили икры, шпрот, килек и других рыбопродуктов. Базарная сумка была полна. Мы устали, а глухаря по Ивановской улице я тащил по снегу, держа за веревочку, завязан-



Папа, мама, старшая сестра Женя, Володя, Лиза и я (в центре). 1904 г.

ную на его шее, чтобы мои товарищи любовались моей покупкой. Оба мы были довольны и весело разговаривали, строя планы дальнейших походов по магазинам. Ведь в ближайшие два дня нам предстояло зайти в колбасную Головановых, в колониальный магазин Колкотина, в "ренсковый погреб" Сапожникова и аптекарский магазин Прокопенко.

Перед большими праздниками в колбасном магазине Головановых всегда было очень много покупателей. Это была, в основном, зажиточная часть населения — буржуазия, чиновники, купцы, домовладельцы и духовенство. Некоторые даже подъезжали к магазину на собственных лошадях с лакеями, горничными и даже поварами, другие брали для этого извозчиков, третьи, проще, приходили пешком.

Магазин был полон народу, но очереди не было, стояли в несколько рядов и подходили к прилавку без толкотни и суетонок. За прилавками в эти дни были сами братья Головановы и человек десять приказчиков, ловко орудующих специальными ножами. Все они были одеты в черные костюмы с белоснежными фартуками и лакированными черными нарукавниками.

Все же пришлось простоять не менее двух часов. Купленный товар тут же укладывался в корзины из широкой драпки, запаковывался и, по просьбе покупателя, к вечеру доставлялся на дом.

Стоя у красивых витрин, я любовался товаром и ловкой работой приказчиков, решив твердо, когда вырасту, обязательно буду колбасником. Далее мы с мамой шли належке в магазин Колкотина, где закупили нужное количество грецких орехов, красивых, крепких "крымских" яблок, апельсинов и специальных елочных фигурных пряников и блестящих конфет и "матрешек". Эти конфеты имели красивую упаковку, но были почти несъедобны. Весь этот товар покупался для украшения елки и для гостинцев в пакеты. Мама не любила стеклян-

ных украшений, а потому елка, в основном, была завешена гостинцами.

Нагрузившись покупками, мы в этот день в "ренсковый" погреб не заходили, а только по пути в аптекарском магазине Прокопенко на Русиной улице купили для елки блестящего дождя, снега, палочки бенгальских огней, елочные свечи, несколько книжек с "золотом" для оклейки орехов. Елка была приобретена накануне праздника.

Наступили самые интересные зимние предпраздничные вечера, когда мы всей семьей подготавливали елочные украшения. Кто клеил цепи из толстой цветной бумаги и делал хлопущки, а кто подвязывал ленточки и шнурки к яблочкам, апельсинам, к пряничным барашкам, рыбкам, снегурочкам и морозам. Сестра Женя занималась золочением орехов, опуская каждый в яичный белок, а потом аккуратно обвертывала его в тончайший золотой листок. Когда орехи просыхали, к ним сургучом или маленьким гвоздиком прикреплялась петелька из узкой цветной ленты. Вечером в сочельник елку вносили в зал и ее украшением занимались мама и Женя. Нас до праздника туда не пускали.

Утром в сочельник из Петербурга приехал папа. Он привез нам гостинцы и подарок Жене, которая в этот день была именинницей. Нам очень понравилась прессованная крошка-монпансье, которую папа доставил прямо с кондитерской фабрики Ландриана.

Вечером мама с Женей ходила на всенощную в церковь Бориса и Глеба, которая была на горке против губернаторского дома.

Праздничное утро началось с прихода со славой священника о.Алексея Андронникова с причтом церкви Бориса и Глеба.

В столовой с утра уже был накрыт праздничный стол. По традиции того времени, на него ставились все закуски в том количестве, в каком они были закуплены. На блюде красовался запеченный окорок ветчины с бумаж-

ной розеткой из цветной бумаги, закрепленной на его ножке, рядом также на блюдах ставились жаренный гусь и глухарь, а далее расставлялись на тарелках головка сыра, солидные куски и кольца различных колбас, консервы и прочие закуски. От всего нарезалось по несколько кусков, с расчетом, чтобы на закусовые тарелки всегда брать свежие куски.

Целая батарея виноградных вин, настоек и наливок красовалась по середине стола, окруженная маленькими рюмочками.

Закусовые приборы накрывались на 6–8 персон.

Приходящее со славой духовенство приглашалось к столу и после легкой закуски они пили чай.

Не ранее 10 часов утра появлялись первые визитеры. Приезжал Д.И.Михин, помещик Н. Е. Исаков, Павлов, старик фельдшер Геннадий Давыдович Рубин, юнкер-артиллерист Борис Василевский, штабс-капитан Татауровский, друзья и ухагеры Жени, гимназисты, реалисты, техники и даже студенты, приехавшие домой на праздники. Как правило, визитеры приезжали на собственных лошадях или на нанятых извозчиках и дольше 10 минут не задерживались. Поздравив, они садились за стол, выпивали одну-две рюмки вина и, слегка закусив, уезжали. Папа выходил не ко всем. Пожилые иногда дарили нам 20–30 копеек на гостинцы, а няне, провозжавшей их, также дарили чаевые. Некоторых мама приглашала на чай вечером.

Елка, богато украшенная гостинцами, картонажами, цепями, а на самой вершине несколькими красивыми шарами, засыпанная искусственным снегом, красовалась среди зала. Мы с нетерпением ждали, когда можно будет зажечь свечи и бенгальские огни, покружиться и побегать вокруг елки, а, главное, получить гостинцы, которые были разложены в пакетах под елкой и прикрыты ватой.

С наступлением сумерек к нам приходили Василевские с тремя



Рождественская открытка начала века.

девочками — Тамарой, Клеопатрой и Лидией и сыном Вячеславом, который уже тогда был моим другом. Были еще какие-то ребяташки, но их я не помню.

Мы играли, бегали вокруг елки, танцевали при помощи Жени и ее подруг, а в конце, утомившись и получив гостинцы, все направлялись к себе в спальню, где нам был приготовлен чай с пирожными, печением и конфетами. В этот год елка стояла у нас до самого Крещения, а праздничный стол накрывался ежедневно в течение четырех дней.

Вечером у родителей всегда были гости. Мама днем ходила к Василевским и к другим знакомым, папа же всегда, из-за болезни, оставался дома.

Через несколько дней домашние обратили внимание, что апельсины на нижних ветках елки почему-то сморщились. Всех это очень удивило. Стали приглядываться. Оказалось, что Володя каждый день тайком проникал в зал, немного прокусывал кожуру апельсина и высасывал сок. Когда они были высоко, он доставал со стула. Однажды, влезая на стул, он сорвался, упал и ушибся. Громкий плач открыл его похождения.

В те же рождественские праздники произошел еще один случай — пропал я. Никто не видел, чтобы я выходил на улицу, чего без разрешения я никогда не делал, да и пальто с шапкой были на месте. Обыскали все закоулки в квартире, а меня нигде найти не

могли. В доме началась форменная паника и даже слезы. Наконец, я, протирая руками глаза, с заspanным лицом вышел из зала. Оказалось, что наигравшись один в зале, я залез на спинку дивана и, устроившись на подоконнике, уснул так крепко, что никакой шум, крики и беготня меня не разбудили.

Обрадованные моим благополучным возвращением, родители меня не ругали, а только посмеялись. Так в играх, забавах и всевозможных развлечениях проходила эта зима первого года нашей жизни на Ивановской улице. Мы росли. Прошла масленица и с первыми лучами весеннего солнца подошла Пасха. Опять началась подготовка к празднику. Мама и няня Пелагея постились весь Великий пост, а мы с папой ели скоромное. В четверг и в пятницу на страстной неделе мама пекла вкусные куличи и делала сладкую творожную пасху. Мы с братцем усердно все пробовали — и творожную массу, и сырое куличное тесто.

Впервые мама в Великий четверг взяла нас с собой в церковь на всенощную, где читали двенадцать евангелий, а хор пел "разбойника". Нам же доставляло большое удовольствие стоять со свечами. Когда мы уставали, то садились в кресла, которые нам любезно ставили около левого клироса. А еще нам очень понравился обычай зажигать под окнами разноцветные бенгальские огни и производить сильные выстрелы в церковной ограде. Говорили, что этим занимались не только подростки, но и взрослые мужчины под наблюдением церковного старосты и дьячка-псаломщика.

Как я потом узнал, выстрел получался от бертолетовой соли, которую клали на большой камень и ударяли другим камнем, а

также стреляли из ружей холостыми зарядами.

После всенощной почти все богомольцы шли домой с зажженными свечами, но в тот вечер из-за ледохода на Волге дул сильный ветер и никто из нас огня до дому не донес. Мы были расстроены, но все тут же было забыто.

В пятницу, днем, мы опять ходили с мамой в церковь на вынос плащаницы. Мне очень понравилось, что вокруг плащаницы было очень много цветущих гиацинтов, от которых очень хорошо пахло. Все подходили и целовали барельеф Христа.

В субботу мама варила и красила яйца в луковых перьях и в разных красивых красках, а мы ей помогали, вернее мешали.

В этот год на пасхальную заутреню, конечно, мама нас не брала и разговоры мы проспали.

Пасхальный стол отличался от рождественского тем, что на нем отсутствовали гусь, глухарь, поросенок, но зато рядом с окороком стоял большой, покрытый сахарной глазурью кулич с красным бумажным цветком и ставились в большой тарелке крашенные яйца и творожная пасха. Лучшим же украшением стола были плоские с белыми и розовыми гиацинтами, которые выпускали аромат по всем комнатам.

В первые дни Пасхи также были визитеры с утра и гости к вечеру, но нам уже не сиделось дома — все дни мы были во дворе и на улице, слушая перезвон колоколов во всех церквях города. Нам очень хотелось слезать на колокольню и позвонить, но родители, конечно не разрешали.

Мы очень любили катать крашенные яйца с соседними ребятами, но при строгом контроле няни. Предстоящее лето внесло в нашу жизнь много перемен и мы узнали то, что нам вовсе не было известно. Рассказы дяди Капитана о его похождениях, а также поездка в Шестихино дали большую пищу нашему детскому воображению и обогатили нашу память житейской мудростью, но об этом поговорим в следующей главе.



ЗВЕЗДА ВАВИЛОВА

В прошлом году в "Губернском доме" читатели встретились с жителем пос. Караваяево Степаном Ивановичем Азевым. Этот человек, ставший профессором еще в середине 30-х, был лично знаком со многими известными людьми своего времени, в числе которых — великие русские ученые Николай Иванович Вавилов и Александр Васильевич Чайанов. Воспоминания о них, как и было обещано, публикуются в этом номере журнала.



Мое знакомство с Николаем Ивановичем Вавиловым началось в двадцатых годах нашего века в Саратове, когда мне попала его книга "Полевые культуры юго-востока" с его благодарственным посвящением: "Солнечному, знойному и суровому краю, настоящей и будущей агрономии юго-востока, как дань за несколько лет приятного гостеприимства посвящаю этот очерк. Автор".

Звезда Вавилова, как писали и говорили в то время, возшла в Саратове, и по злой судьбе там он трагически закончил свой жизненный путь, там он оставил не след, а огромное научное наследие для всего человечества.

В те годы я не был с ним близко знаком, встречал его только на различных семинарах и совещаниях. Я правильно считал, что к такому великому ученому нельзя приставать с личными вопросами, хотя раза два пытался. Последняя встреча зимой 1943 года в Саратовской пересыльной тюрь-

ме была в равных условиях и более длительной, но эта обстановка и условия не располагали для спокойных и доверительных бесед. Но тем не менее контакты были, и часто они с гнетущей силой тревожили наши души, потому что мы многого не сумели сделать. Он особенно беспокоился о работе созданного им ВИРа и в частности о географической сети созданных им опытных станций ВИРа.

Внешне Н.И.Вавилов был всегда относительно спокойный. У него не было на кого-нибудь выраженной злобы, он был всегда задумчив. В разговоры включался редко, на вопросы отвечал, как правило, кратко, разумно. Он обычно сидел на нижних нарах нашей камеры, был постоянно задумчивым, но никого не обвинял, не ругал. В обращении со всеми был сдержан, в камере многие выражали ему глубокое сочувствие. Николай Иванович имел тетрадь-блокнот и что-то там писал, когда я спросил, что он там

пишет, он ответил: "Здесь в камере приходит много новых мыслей и хочется их зафиксировать, если я выживу, они мне будут очень нужны. Кроме того, меня тревожит мысль, как лучше и полезнее использовать мировую коллекцию семян, которая хранится в нашем институте. Несомненно, меня беспокоит и положение жены и сына". Его жена Елена Семеновна Борулина-Вавилова была не только женой и матерью, но и постоянным его помощником и другом. Она активно вела научно-исследовательскую работу. Особенно ценный вклад она внесла в подготовку рукописи "Культурная флора СССР". Он очень переживал, что эти большие исследования не сумеет закончить. Н. И. всегда ценил своих помощников, называл каждого по имени-отчеству, я не раз слушал его научные выступления, где он говорил не только о себе, всегда ссылаясь на своих помощников, учеников, аспирантов и друзей. Из всех его этих замеча-

ний можно сделать вывод, что в его коллективе была дружная, слаженная работа, строго научно продуманная программа исследования, совместно со своими товарищами. В разговорах он часто возвращался к саратовскому периоду его жизни. Справедливо отмечают, что его фундаментальные исследования по сельскому хозяйству были близки к практике и использовались сельхозпредприятиями в нашей стране. Я как-то осмелился спросить его: "Вы хотели бы в ваш капитальный труд "Полевые культуры юго-востока" внести какие-либо дополнения и изменения? И напомнить читателям еще о чем-то новом?". На это замечание он ответил: "Я был только несколько уточнил и дополнил некоторыми новыми данными, не изменяя сущность этой работы. Творческое развитие сельскохозяйственной науки должно идти постоянно и ничего предосудительного, что с годами появляются новые данные, которые надо учесть. В частности, я бы хотел дополнить эту работу некоторыми элементами агротехники". В этой фразе он имел в виду введение новых сортов в практику и способы посева. И при разговоре у меня была какая-то надежда, что он переживет этот период и вернется к творческой деятельности. Такая мысль, видимо, была в какой-то степени и у него, но этого не случилось.

Многие думали, что Вавилова еще увидят, что, выражаясь по-современному, его глобальные исследования будут широко использованы в нашей практике. В заключении он думал не только о своей судьбе, но и о судьбе сельскохозяйственной науки, в этой связи я как-то осторожно спросил его: "Что, по-вашему, играло решающую роль в вашей трагедии?". Он ответил: "Я об этом не могу говорить, да и оно всем известно". В его судьбе значительную роль, безусловно, сыграл академик Т.Д.Лысенко, как тогда говорили, шел процесс облысения науки. На эту тему Вавилов



Николай Иванович Вавилов.
Портрет художника В. Носко.

не любил говорить и распространяться. В камере не было условий, точнее желаний серьезно обсуждать данную тему. Это объясняется тем, что будущее было в сплошном тумане. Ведь у всех нас кроме изоляции были еще ссылка и поражение в правах. И в таких условиях планировать и проектировать будущую работу и деятельность было невозможно. Были проблемы, которые давили на творческую мысль. В это время в пересылку нам не давали ни книг, ни газет, мы почти не слышали радио. Но Николай Иванович говорил, что он переживал и более страшные вещи, что в пустыне Сахара во время экспедиции он провел одну ночь рядом с логовом льва, в Аравийской пустыне он питался несколько дней сухой саранчой, но это не сломило его упорства достичь цели, которая была предусмотрена его экспедицией. Он говорил, что если человек поставит своей целью достичь результатов, он не остановится перед трудностями. Во всех его научных экспедициях, как уже было сказано, его помощником была жена Елена Ивановна. Она старалась всю жизнь оберегать его. Когда он был в изоляции, она всячески хотела добиться какой-нибудь связи с ним, но бесполезно. Приведу не-

сколько строчек из ее письма мне: "Я получила ваше письмо и приношу вам самую искреннюю сердечную благодарность, все, что вы мне написали, это единственные и достоверные сведения о Николае Ивановиче. Дело в том, что со дня ареста 1940 г. августа месяца я не имела от него никаких сведений, я неоднократно обращалась с письмами в разные ведомства, но безрезультатно". В дальнейшем она, очевидно, из деликатности, чтобы не беспокоить меня, вела переписку с моей женой Е.Н.Азевой, чтобы через меня узнать какие-либо сведения о Н.И.Вавилове. Но увы, ничего достоверного я не узнал, а слышал только разные придуманные домыслы о том, что его похоронили на Саратовском центральном кладбище и в престижном месте, что невозможно для осужденного к высшей мере. Как мне стало известно, на все попытки узнать, где он и что с ним, она не получила никакого ответа. Она не знала, что он переведен в Саратовскую тюрьму. Она хотела узнать дату его смерти. На эту просьбу она получила три ответа, и во всех были разные сроки его гибели. Что я знал, я написал ей, но знал я очень мало, потому что мы все были изолированы и лишены переписки.

Николай Иванович - это человек с энциклопедическими знаниями, широчайшего кругозора, высочайшей эрудиции, образец деликатности и уважительного отношения к людям. Мне было даже неудобно говорить с ним о некоторых вещах, ибо его эрудиция была далеко не равна моей. Но, тем не менее, когда находил возможность, хотя и кратко, он отвечал на некоторые вопросы, которые меня интересовали. Я считал себя счастливым и этим минутным общением. В период задумчивости, сидя на нижних нарах, он часто повторял в полголоса какой-то шуточный напев, я запомнил только несколько слов: "На рыбалке тянут-тянут, не дотянут сети дураки", или что-то вроде этого. Мое кратковре-

менное пребывание с ним в одной камере обогатило мое мышление. Я стал по-новому воспринимать и понимать его ранее слышанные выступления в Саратове. Я уже отмечал, что Н.И.Вавилов был очень замкнутым, не терпел беспредметных разговоров. Он болезненно переносил грубую несправедливость, которая была допущена на отношении к нему. Общение с ним проходило очень интересно и увлекательно, только по ограниченному кругу вопросов и только по тем, где он мог высказать какое-то свое корректирующее мнение. Но разговоры по вопросам, которые он фундаментально изучал, в частности, по проблемам гомологических рядов в наследственной изменчивости или о центрах происхождения культурных растений, где я

чувствовал свою слабость, он воспринимал с какой-то потусторонностью и безынтересностью, и только с присущей ему деликатностью поддерживал разговор и всегда не хотел и даже не терпел, чтобы его выделяли, хотя заслуга его была бесспорной, но он всегда это связывал с коллективом, его учениками. Наши беседы не ограничивались только профессиональными вопросами. Он часто переходил на зарубежную и русскую классику и вспоминал историю опытного дела в нашей стране, историю земства. Наше общение часто было у камерной кормушки за очередным довольствием, к счастью в нашей камере не было уголовников и пищу или паек никто ни у кого не отбирал. Некоторым не разрешали передачи, и они не могли сообщить род-

ственникам, где они находятся. На таком режиме и был Н. И.Вавилов. И видимо, по каким-то причинам следствие считали не совсем законным. Или потому, что его не предполагали судить военным трибуналом, как нас, а особым совещанием или тройкой. По этим причинам и задерживалось его этапирование в лагерь или колонию. Последние месяцы его жизни полны неизвестности.

Вот этими последними днями его жизни очень интересовалась его жена Елена Ивановна. Наши эти встречи были коротки, через несколько дней меня взяли на этап и, как я узнал по слухам, его тоже взяли в тот же день и увезли в Балашовскую колонию. Но было ли так, утверждать не могу.

ВСТРЕЧИ С ЧАЯНОВЫМ

В 1988 году в нашей стране было широко отмечено столетие со дня рождения крупнейшего ученого-аграрника Александра Васильевича Чайнова, была проведена специальная сессия ВАСХ-НИЛ, все центральные газеты и многие журналы отметили эту дату. С этого времени во многих выступлениях и статьях часто ссылаются на его работы. В этих памятных заметках, как человек, близко знавший А.В.Чаянова, многих живых свидетелей, видевший его в быту и на работе в последний период жизни, хочу рассказать о нем и еще раз напомнить о его втором открытии. А. В.Чаянов родился в Москве в 1888 году, ушел из жизни в 1939 году. Отец его был из крестьян, а мать из мещан г.Пензы, которая была первой женщиной, окончившей Московский сельскохозяйственный институт (ныне Тимирязевка). А. В.Чаянов среднее образование получил в одном из лучших реальных училищ г.Москвы, а высшее в Московском сельскохозяйственном институте. Он на

практике прошел все ступени агрономической работы. Будучи в заграничных командировках, изучил непосредственно сельское хозяйство и его организацию в Германии, Франции, Италии, Бельгии и других странах. Его педагогическая работа началась в 1913 году, когда он был избран доцентом Московского сельскохозяйственного института, а в 1918 году — профессором кафедры организации сельского хозяйства того же института. Одновременно вел педагогическую работу в университете им. А. Л. Шепевского и коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова.

Имя А.В.Чаянова было полностью забыто и неизвестно двум-трем поколениям аграрников, или известно по ругательному выражению "чаяновщина". Правда, эти критики сейчас стараются дать "задний ход", ну и на этом им спасибо.

В этих заметках я остановлюсь на отдельных моментах его жизненного пути, которые мне памяты, и на некоторых чертах его

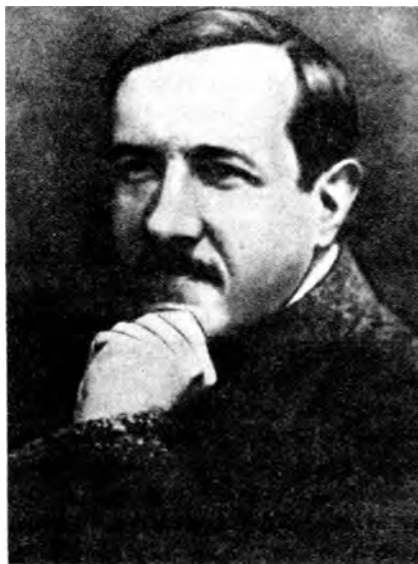
характера, еще раз хочется напомнить о тех его работах, которые более полно характеризуют его как ученого и внесли определенный вклад в мировую аграрную науку.

Лично я узнал А. В. Чайнова в 1926 году, хотя переписка с ним началась с 1925 года. В это время я работал в Иркутске в сельхозполитехникуме и университете и, помимо педагогической работы, занимался изучением бюджетов крестьянских хозяйств, т. е. вопросами, которые всегда интересовали А. В. Чайнова. В 1927 году я приехал к нему на консультацию в Петровскую сельскохозяйственную академию, и первая с ним встреча на меня, молодого агронома, произвела неизгладимое впечатление — соприкосновение с гением аграрной мысли. А. В. Чайнов почти весь день посвятил мне, знакомил с работами по крестьянским бюджетам, говорил о перспективах вновь организованного научно-исследовательского института.

В это время у него была идея открыть филиал этого института в Сибири (Новосибирске, Иркутске), который позднее был формально открыт в Новосибирске под руководством краевого агронома Осипова.

Я слышал два публичных выступления А. В. Чаянова на аграрные темы: 1. по проблемам сельхозкооперации в СССР, 2. развитие крестьянского хозяйства Нечерноземья в историческом плане. В конце двадцатых годов начались критические выступления против чаяновских идей, его взглядов по вопросам аграрной политики, и, наконец, конференция аграрников-марксистов 1929 года, где в речи Сталина прозвучали резкие выражения против Чаянова, после чего в печати усилилась античаяновская кампания. Несмотря на это, я на расстоянии продолжал поддерживать с ним письменную связь. Созданный в Новосибирске филиал института экономики сельского хозяйства практически не работал. Скоро стали уходить в небытие некоторые его товарищи, в т. ч. талантливый молодой ученый профессор Г. А. Студенский, имя которого незаслуженно забыто, а это был самый энергичный и "плодовитый" молодой ученый.

Вторая встреча с Чаяновым состоялась в Алма-Ате в 1934 г., где он находился на поселении с правом работы по специальности и был оформлен консультантом в Наркомате земледелия (у наркомма Сыргабекова). Он принимал активное участие в комиссии по введению правильных севооборотов в хозяйствах Казахстана, а также в группе по подготовке первого республиканского агротехнического совещания. Одновременно, при моем содействии, он был приглашен на работу в сельхозинститут на кафедру экономики и организации сельского хозяйства, где на агрофаке читал курс "Вариационная статистика и элементы сельхозстатистики". Лекции А. В. Чаянова на общем институтском фоне отличались высоким научным содержанием и



Александр Васильевич Чаянов.
20-е годы.

формой изложения, проходили они всегда при переполненной аудитории. На кафедре он создал научно-студенческий кружок, где 1-2 раза в неделю проводил факультативные беседы-занятия. А. В. Чаянов был ученым широкого диапазона, в выступлениях и на лекциях он говорил не только о проблемах экономики и организации сельхозработ, но и по вопросам агрономической помощи (была такая дисциплина в учебных планах) и другим вопросам. Было много бесед о проблемах сельского хозяйства в технологическом плане. Он был горячим патриотом нашей Родины и всегда интересовался и фиксировал в памяти исторические факты. Озабоченно, настороженно воспринимал некоторые явления в практике сельхозпроизводства, особенно гигантоманию: район-колхоз (пример — Красноеланский район Свердловской области, о котором тогда много писала наша пресса). В Наркомземе республики, где он продолжал работать, относились к нему внимательно, при некоторой сдержанности отдельных работников. Такое же положение было и в сельхозинституте. А. В. Чаянов в это время был довольно крепким и собранным человеком, при разговоре смотрел всегда

прямо в глаза, но он хорошо понимал свое положение и не навязывал себя там, где это не требовалось, тем более, что некоторые смотрели на него с "оглядкой" и как бы незаметно хотели его морально унижить. У меня много фактов, но приведу один из них. Кажется, в январе 1935 года ему исполнилось 46 лет и он, как сотрудник института, решил организовать семейный чай в комнате общежития сельхозинститута, где он тогда жил (Тоголевская, 21). Пригласил меня, директора института и еще двух завкафедрами. Мы просидели у него около 3 часов, он много говорил о своей жизни, о зарубежном сельском хозяйстве. Особенно он хорошо и предметно знал сельское хозяйство Бельгии, Голландии, Италии, Германии. Мы поражались его памятью и наблюдательностью, простой и точной передачей виденного и воспринимали все как участники поездок по этим странам. В таких товарищеских беседах он часто и неожиданно менял темы разговора, от сельского хозяйства переходил к искусству, гравюре, живописи в указанных странах. Я часто был озадачен — с кем мы беседуем? С ученым аграрником-экономистом или с большим художником, или даже историком? Особенно эти мысли возникали, когда он рассказывал о западно-европейских музеях, в частности, знаменитом Лувре. В период 1934-1936 гг. я особенно близко узнал его в жизни и быту.

Среди сотрудников Наркомзема республики А. В. Чаянов, особенно со стороны наркомма Сыргабекова, пользовался большим уважением, к нему абсолютное большинство относилось доброжелательно, но тем не менее были отдельные лица, которые своим отношением подчеркивали его "особое" положение в коллективе, его некоторые взгляды на аграрную политику, которая тогда проводилась. В этой связи приведу такой факт. В один из вечеров ко мне на квартиру пришел мой университетский товарищ Б. А. Бораш, работавший директором

Казахского племтреста, а несколько позднее также на вечерний чай зашел А. В. Чайнов. И тогда мой гость, услышав, что пришел и в прихожей раздевается Чайнов, быстро встал со стула, через камин перепрыгнул в другую комнату и через заднюю дверь, чтобы не встречаться с А. В. Чайновым, ушел из квартиры. Я не могу говорить, был замечен или нет этот цирковой трюк. А. В. Чайнов мне ничего не сказал, но в дальнейшем я понял, что он это заметил, но не знает, кто "бежал" из квартиры.

А. В. Чайнов любил в хорошую погоду ходить по предгорьям окружающих Алма-Ату гор, и под впечатлением виденного жаловался на себя, что он плохой работник и не может собрать гербарий. Как мне кажется, в этих прогулках он находил душевную радость и покой, и здесь у него зарождались плодотворные идеи. После таких прогулок он становился более общительным и охотно делился некоторыми своими думами с нами — его близкими по работе. Вернемся еще к его дню рождения, о котором сказано выше. На следующий день в газете "Вечерняя Алма-Ата" на 3-й странице под большой шапкой появилась статья "Чаяновские гости", что сильно отразилось на душевном состоянии Александра Васильевича. Нам, в частности мне, также пришлось объясняться, но пока без последствий, которые были позднее. После такого "приема" и освещения этого в печати А. В. Чайнов был еще более морально подавлен и на завтра сказал мне: "Может, мне надо сидеть в своей комнате, не встречаться с людьми, не ходить к Вам, но это, видимо, нельзя, потому что я читаю курс и от этой работы не отступлюсь. Но поймите, мне будет тяжело выступать перед аудиторией, зная, что слушатели в большинстве своем читали эту статью". Как мог, я его успокаивал, но он знал, что от меня в этом плане ничего не зависит.

Хотел пригласить его к себе на квартиру, где он уже бывал, но подумал, не появится ли новая статья в газете, и воздержался, мои встречи и беседы с А. В. проходили на кафедре или на вечерних прогулках по тихим улицам города, где мало кого можно было встретить.

Эти беседы для меня всегда имели познавательный характер — о содержании сельскохозяйственной деятельности в рамках крестьянского хозяйства и кооперативных объединений. С особым интересом он говорил о содержании и значении сельхозкооперации, часто возвращался к истории земледелия в России и особенно льноводства, давая высокую оценку кооперации в этой отрасли. В этой связи предметно знакомил с мировым рынком льна и его динамикой. Нас поразило, что здесь, в Алма-Ате, где нет необходимых источников, он на память приводит большой перечень цифр. Он всегда указывал, что при формировании цели научных исследований надо соблюдать точность и краткость формулировок, всегда призывал к пониманию и знанию истории тех проблем, которые интересуют общество, и насколько я помню, он всегда находил какие-то исторические параллели или связи с ранее известными фактами.

Следует отметить его исключительную аккуратность, собранность, приветливость и высочайшую эрудицию. К лекциям он всегда тщательно готовился, я видел его записи и как он фиксировал свои оригинальные статистические формулы. Почти всегда свет в его окнах был до 11-12 часов ночи. Иногда я спрашивал его о пережитых 4 годах заключения, но он и сам вспоминал об этом без озлобления. Как-то он сказал, не помню в связи с чем, примерно следующее: "В Бутырской тюрьме я видел сон, что я имею свое хозяйство, но в итоге не все получается, земля не дает того, что

зложено в оптимуме, утром сделал грубый набросок, как подойти к методике сравнительной оценки сельхозугодий, и возможных коэффициентах перевода к единой размерности, с учетом качественных признаков сельхозугодий, и возникла мысль о совершенствовании методов сравнительности сельхозугодий по их потенциалу. Это говорит о том, что даже в суровых условиях его творческая мысль не угасла. Научная деятельность А. В. Чайнова в силу сложившихся условий в сельхозинституте была ограничена, но тем не менее он выполнял очень полезное дело.

Его научные интересы по-прежнему были очень широкими. У него в комнате были книги, кроме специальной литературы, по аграрно-экономическим проблемам и по истории литературы, географии, искусству, философии. А. В. Чайнов пользовался республиканской и институтской библиотеками. В последние годы своей жизни, а это именно в Алма-Ате, у А. В. Чайнова складывалось определенное мнение об интеграции отдельных отраслей и стадий сельхозпроизводства. Особенно в таких отраслях, как молочное хозяйство и льноводство, в этом он усматривал производственную и экономическую необходимость, чтобы сельское хозяйство давало продукцию уже полностью готовой к употреблению в ее конечной стадии.

Нам кажется, что его идеи в тот период чем-то напоминают арендные подрядные отношения данного периода.

Жил он очень скромно, или в общежитии, или в небольшом деревянном домике по ул. Красина, 106. Жил на полном самообслуживании, вел какой-то дневник, который не показывал. В 1936 году я из Алма-Аты уехал, и дальнейшая судьба А. В. Чайнова была мне неизвестна до последнего времени, т. е. до 1987 года.

О ПОСТАНОВКЕ ДРАМЫ БЛОКА «РОЗА И КРЕСТ»

Перепечатываемые ниже воспоминания были опубликованы в альманахе "Земные ласки", который вышел в Кинешме в 1922 году тиражом 1000 экземпляров. Сейчас этот альманах — библиографическая редкость. Между тем воспоминания Сокольников, написанные по горячим следам спектакля, являются, по-видимому, почти единственным источником, достоверно рассказывающим о театральной интерпретации пьесы Блока и ее восприятии актерами и публикой. В этом — их безусловная ценность.

Пьеса "Роза и Крест" (1913 г.) — самое задушевное и самое значительное произведение поэта. Спектакль по ней готовился в Московском Художественном театре, намеревались ставить ее Камерный, Александринский и другие театры, но спектакли так и не состоялись. Постановка драмы в Костроме, таким образом, оказалась уникальной на профессиональной сцене. Руководил ею Юрий Михайлович Бонди, он был не только режиссером, но и автором декораций и костюмов.

Автор воспоминаний Михаил Порфирьевич Сокольников (1898–1979) — человек, всю жизнь связанный с искусством. Уроженец Кинешмы, он в сезон 1920–1921 годов жил некоторое время в Костроме. Сокольников учился в Иваново-Вознесенском пединституте, одновременно занимался издательской деятельностью (издательства "Свирель", "Основа"), выступал как литературный критик. С переездом в 1925 году в Москву вскоре начал работать художественным редактором издательства "Academia". Позднее стал известен как искусствовед, автор нескольких книг об изобразительном искусстве (в том числе монографий о художниках А. М. Герасимове, Н. В. Кузьмине, В. Н. Бакшееве и др.). Заслуженный деятель искусств. Был секретарем Союза художников РСФСР.

*Павел КУПРИЯНОВСКИЙ,
профессор Ивановского университета.*

* * *

Русскому обществу едва ли известно, что лучшее произведение Александра Блока драма "Роза и Крест", святая святых его поэзии, вся сотканная из тончайшей и нежной лирики, полная музыки и символов, была поставлена на сцене. Все помнят, что "Розу и Крест" готовил Московский Художественный театр и что только война, а быть может, и другие причины заставили отложить постановку уже сделанной художественниками пьесы.

Однако "Роза и Крест", несмотря на, казалось бы, полную невозможность воплощения ее на сцене, все же была поставлена и прошла пятнадцать раз.

Было это в Костроме, зимой 1920 года.

Рассказать об этом интересном и единственном спектакле я и хочу на этих страницах.

В тот год директором и главным режиссером Костромского городского театра был художник Ю. М. Бонди, сподвижник Мейерхольда, совместно с ним написавший детскую пьесу "Алину". Труппа была небольшая, слабая; составили ее случайно, лишь в ноябре. Ставить хорошие, большие пьесы старого репертуара, ввиду незначительного количества исполнителей, не представлялось возможным, да и Бонди, с его стремлением к созданию романтического театра, построенного на принципе отказа от подражаний действительной жизни, хотелось дать "новое" и применить "свой" метод сценической постановки.

Он начал с "Розы и Креста". Решиться поставить эту драму в провинции — большое дерзнове-

ние. В пьесе девятнадцать картин, почти для каждой необходимы специальные декорации, костюмы, музыка, балет, пение. Все это требовалось дать настроение, фон, законченность. "Роза и Крест" соткана из тончайших нитей, — и малейшее неосторожное прикосновение могло повести за собой гибель всей пьесы. Никаких особых сценических ремарок Блок не дает. Перед режиссером лишь голые стихи, чистая лирика — и только. Пьеса символов и средневековой романтики, "Роза и Крест" требовала и символического к ней подхода, романтических красок и звуков, движений и переживаний. Воплотить "Розу и Крест" мог только синкретический театр.

Бонди так и стал ставить. Он использовал для постановки все силы и средства. Спектакль со-



Большая родня.
В центре — полковник в отставке Александр Сергеевич Лавров.

**ЭТОТ
 ДЕНЬ
 ПОБЕДЫ...**

Вот и ушел в историю светлый и скорбный праздник, который помог нам стать немного ближе друг к другу. Открыты новые обелиски и храмы, сказаны теплые слова, отсылали звезды салюта... И снова наступила обычная, далеко не праздничная жизнь. Но пусть этот день памяти и поминовения надолго останется в каждом сердце, всегда напоминая о том, что победители достойны жить по-человечески, не хуже побежденных.

*Фото
 Георгия БЕЛЯКОВА*



Открытие памятного знака в Песочном.



Освящение церкви Георгия Победоносца, первого в России храма, построенного в военном училище.



Николай Иванович Метелкиш и сегодня герой — чемпион мира по легкой атлетике среди ветеранов.



Поэт Евдокия Будник — солистка русского народного хора им. Рыбникова.



Панихида в часовне Феодора Стратилата возле Вечного огня.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

80 лет назад, 4 марта 1915 года, скончался от сыпного тифа ученый и общественный деятель Николай Лукич Скалозубов. Думаю, что очень немногие костромичи знают биографию этого незаурядного человека и те деяния, благодаря которым остался он в памяти ученых и практиков сельского хозяйства Урала и Западной Сибири. Именно там проходила его плодотворная деятельность. Но родился он и провел свое детство и отрочество в Костроме. С Верхневолжьем связаны многие эпизоды и последующей его жизни. Сюда наезжал он и во время своих отпусков, участвовал в деятельности губернского отделения общества по изучению Костромского края. Но все по порядку...

На углу улиц Комсомольской и Островского и поныне стоит его родимый дом. Отец — приказчик в лавке местного купца, а потом и сам выбившийся в купеческое звание, очень бы хотел видеть сына продолжателем своего дела. Но был настолько благодарен, что не стал препятствовать Николаю, когда понял, что предмет его увлечения — ботаника.

В местном реальном училище, где занимался юный Скалозубов, этот предмет был второстепенным. Но Николай почему-то прикипел к нему всем сердцем. Летние каникулы он проводил на стрелке Ипатьевского монастыря, где в середине прошлого века было такое буйное разнообразие растительности, что по ней можно было составить книгу флоры всего региона. И юный натуралист принялся собирать экземпляры для гербария. Это кропотливое занятие в совокупности с пристрастным чтением популярной ботанической литературы и определило дальнейший жизненный путь будущего ученого.

Окончив Костромское реальное училище, Николай сделал по-

пытку поступить на естественный факультет Московского университета. Но доступ туда выпускникам реальных училищ был практически закрыт — предпочтение отдавалось окончившим гимназии. И Николай подает заявление в Петровско-Разумовскую земледельческую Академию и блестяще сдает экзамены. Это учебное заведение не считалось престижным и потому не привлекало к себе молодых людей, стремящихся сделать карьеру на поприще гуманитарных наук. Сюда шли только те, кто бескорыстно любил природу и мечтал отдать всего себя благородному делу обогащения фауны и флоры родной земли.

В 80-е годы прошлого века в "народ" шли не только те, кто призывал мужика к топору, но и просветители, естествоиспытатели, землеустроители, врачи и другие земские деятели, поставившие своей целью способствовать улучшению народного состояния. Они были приверженцами эволюционного пути к лучшему будущему через преподанные народу знания, через обучение его рациональному труду, разумному использованию природных богатств. Именно к таким людям относился разночинец Николай Скалозубов и его учителя — Ковалевский, Тимирязев, Менделеев, Сеченов, Фортунатов.

Учеба Николаю давалась легко. Но из-за скудости средств к существованию приходилось "подрабатывать" несколько необычным способом, который не только улучшал материальное положение студента, но и способствовал более углубленному изучению предметов слушателями Академии и, естественно, самим Николаем.

В те годы не было специальных учебников для студентов высших учебных заведений. Выручали записи лекций. Но далеко

не все слушатели обладали даром скорописи. А Николай умел записывать речь говорящего со стенографической точностью. Каждая лекция потом переписывалась начисто каллиграфическим почерком, литографировалась в сотне экземпляров и распространялась среди студентов и вольнослушателей за умеренную плату.

По окончании академического курса со степенью кандидата наук Скалозубов получает место статистика земств в Красноуфимском уезде Пермской губернии. Одновременно на него возлагается исполнение обязанностей агрономического смотрителя, страхового агента и преподавателя в местном реальном училище. И заметим, что такая нагрузка не стала обузой молодому специалисту: он добросовестно выполнял все, что требовалось по долгу службы, да еще выкраивал время для сбора коллекций растений и насекомых в окрестностях Красноуфимска.

Результатом первых семи лет работы Скалозубова явились изданные в Казани шесть выпусков "Материалов для статистики Красноуфимского уезда Пермской губернии", обратившие на себя внимание специалистов своей полнотой и объективностью.

В конце 80-х годов в Красноуфимск преподавать рисование в женской гимназии приехала Ариадна Васильевна Максимова, дочь известного художника-передвижника Василия Максимовича Максимова, автора известных полотен "Семейный раздел", "Приход колдуна на свадьбу", "Все в прошлом" и др. Она отказалась от престижного места в столице в знак протеста против казни группы народовольцев, покушавшихся на жизнь императора Александра III. Ее друг — студент Василий Генералов был повешен вместе с Александром

Ульяновым — старшим братом Ленина.

Знакомство Николая Скалозубова с Ариадной Максимовой, их взаимная симпатия завершились негромкой свадьбой, после которой молодая супружеская пара переехала в Пермь. Сюда на должность заведующего губернским статистическим бюро был приглашен отличившийся своей добросовестностью и усердием уездный статистик.

Однако губернское начальство ошиблось в своем выборе, полагая, что "облагодетельствованный" чиновник будет послушным исполнителем желаний администрации. Глубоко изучив состояние экономики губернии, Скалозубов пришел к заключению о неудовлетворительном состоянии хозяйства (особенно сельского) и тенденции к еще большему его неблагополучию. Это не понравилось губернским властям. Но против фактов открыто никто возразить не мог. Избавиться от неугомонного "правдолюбца" помог испытанный и донныне широко практикуемый прием: ликвидация службы статистических исследований "вследствие ее нецелесообразности".

Но безработица Николаю Лукичу не грозила. В соседних губерниях среди служащих земств о нем уже шла молва, как о прекрасном специалисте. Получив расчет, он едет в Тобольск и занимает предложенную ему должность губернского агронома.

Двадцатилетний Тобольский период жизни костромича был наиболее плодотворным. Здесь в полном объеме раскрылись его исследовательские и организаторские способности. Имея за плечами солидный опыт практической работы в сфере статистики и экономики, пользуясь поддержкой прогрессивного земства, Николай Лукич всю свою энергию направил на оказание научной, материальной и моральной помощи сельскому труженику в его стремлении к достатку и благоденствию.

Тобольская губерния простиралась с севера на юг на две тыся-



Николай Лукич Скалозубов. Фото начала века.

чи верст через ряд почвенно-климатических зон от тундры до степей. Наибольший интерес для агронома представляли южные районы и в первую очередь Курганский уезд. В урожайные годы заваливал он хлебом весь Урал, зато засуха грозила местному крестьянству голодом. В то время рядовой пахарь не знал, что человеку можно влиять на урожай подбором семян, не верил, что в неблагоприятные для зерновых годы можно получать великий доход от животноводства и пчеловодства, от народных промыслов.

Чтобы заинтересовать зауральцев в развитии нетрадиционных видов деятельности, наглядно показать деловым людям, какие резервы кроются в их округе, что могут они производить в

своих хозяйствах и выгодно продавать, Скалозубов устраивает в Кургане в 1895 году сельскохозяйственную выставку. Ее успех превзошел все ожидания. Крестьяне приезжали к ней целыми деревнями, смотрели, дивились, прикидывали в уме, что можно перенять, чему научиться. Выставку посетили многие земские деятели соседних губерний и сам министр земледелия.

Вслед за своей выставкой курганцы уже с большей смелостью и размахом приняли участие в Нижегородской и Всероссийской выставках. И даже на Парижской не ударили в грязь лицом: представленное авторитетным дегустатором курганское масло по своим вкусовым качествам превзошло датское, шведское и голландское. Вот с чем зауральцы

могут выйти и на российский, и на международный рынок. Только надо наладить его производство не в индивидуальных хозяйствах, а в кооперативах с применением современной техники.

Почувствовав выгоду, крестьяне рьяно взялись за организацию маслодельческих артелей, покупали вскладчину сепараторы, маслобойки, разводили продуктивных коров, сеяли травы. И за три года, с 1895 по 1897, производство сливочного масла на курганщине возросло в 25 раз. Вот классический прием торжества рыночной экономики, главный двигатель которой — материальный интерес и производителей, и посредников в торговле, и покупателей.

Решив "масляную" проблему, Скалозубов принялся за зерновое хозяйство региона. Он собрал и написал 374 образца российских пшениц. Их анализ убедил агронома в необходимости создания для Западной Сибири своих сортов зерновых. С этого и начались многолетние работы по прикладной ботанике, пик которых пришелся на начало двадцатого века, когда была создана совместно с курганским промышленником Смолиным первая в Сибири опытная сельскохозяйственная станция и заложен питомник. Именно отсюда вышли на поля Зауралья знаменитые сорта пшеницы Мильтурум-321 и Цезиум-111.

Николай Лукич, будучи горячим сторонником реформ, направленных на улучшение жизни простого народа, немало страдал за свои демократические убеждения. Ему даже довелось посидеть в тюрьме и побывать в ссылке за участие в организации "Вольного крестьянского съезда Тобольской губернии". Съезд этот был создан для выработки наказов депутатом I Государственной Думы и не очень понравился властям вольномыслием делегатов.

Далеким от политики в прошлом Скалозубов после ареста и

общения с политическими заключенными и ссылкой стал по-иному относиться к вопросам общественной жизни. И когда жители Тобольска выдвинули его кандидатуру в депутаты II Государственной Думы, он не ответил отказом и был избран подавляющим большинством голосов. Это избрание вызволило его из ссылки, прибавило энергии и убежденности в необходимости скорейших реформ по совершенствованию политической, экономической и социальной структур



Эта медаль была вручена Н. Л. Скалозубову за вклад в развитие сельского хозяйства России.

российского общества, созданию справедливых законов, гуманного отношения к людям независимо от их политических взглядов, принадлежности к тому или иному сословию, национальности, образования.

Десятки писем, отправленных Скалозубовым Министру внутренних дел с ходатайством о пересмотре жестоких приговоров, снискали Николаю Лукичу славу борца за правду и справедливость. Ему во многом мы обязаны тем, что Михаил Фрунзе, приговоренный к смертной казни по ложному обвинению в покушении на убийство урядника, остался жив. После вынесения Владимирским военно-полевым судом смертного приговора рабочие Шуи и мать Михаила Васильевича обратились за помо-

щью к Скалозубову. Обратите внимание — не к своему владимирскому депутату, а к депутату, которого выбрали жители дальнего сибирского города Тобольска.

Николай Лукич мог бы переадресовать эту просьбу другому человеку и был бы формально прав. Но он этого не сделал, а сам, выяснив обстоятельства дела, добился смягчения приговора. И вот из Шуи на имя Скалозубова пришло письмо, подписанное псевдонимом "Рядовой".

Привожу его заключительные строки: "...Свидетельствую вам искреннюю признательность от имени шуйских рабочих и могу сказать, что одного этого поступка достаточно на вечную признательность и памятник вам от рабочих Шуи".

Думаю, что этот поступок и это письмо как нельзя лучше характеризуют Николая Лукича, и вряд ли мы найдем более выигрышный эпизод из жизни Скалозубова для концовки рассказа о нашем славном земляке.

В заключение заметим, что Николай Лукич, проживший свои зрелые годы на Урале и в Западной Сибири, не порывал связей с Костромой. И не только потому, что здесь обитали его близкие родственники. Когда в Костроме открылось общество по изучению местного края, он одним из первых был зачислен в его действительные (а не "почетные") члены. Скалозубов регулярно присылал в Кострому свои печатные труды, делился советами об организации работы, предлагая в дар свой гербарий, собранный некогда на стрелке Ипатьевского монастыря... А навещая родной городок, непременно встречался с энтузиастами общества. На банкете, устроенном в его честь, он заявил: "Я бы с удовольствием вернулся в родную Кострому, но дело, которому я посвятил жизнь, не велит мне расставаться с Сибирью".

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА

АЛЕКСАНДРА ИЗМАЙЛОВА

НИКОЛАЮ ГРАММАТИНУ

Принято думать, что наш многострадальный областной архив, потеряв в печально известном пожаре 1982 года большую и лучшую часть своего состава, уже не сможет поразить исследователя нечаянной, но значительной находкой. Однако, слава Богу, это не так...

Подтверждением тому явилась только что обнаруженная тетрадь писем поэта и журналиста А. Е. Измайлова к его другу поэту-костромичу Н. Ф. Грамматину.

Это, действительно, чудо. Ведь от всего объемного, включающего в себя 468 дел, личного фонда Грамматиных (№ 605), куда входили и письма А. Е. Измайлова, после пожара едва ли осталась десятая часть (52 дела), да и то преимущественно хозяйственно-экономического характера. И лишь одно из дел под названием "Переписка" как раз и явилось настоящим литературным раритетом. К сожалению, последствия пожара сказались и на нем: листы бумаги форматом в десять — 2° (32x20 см) выгорели сверху более чем на одну треть (21,5x20 см), а следовательно, на треть утрачено и содержание документов. Тем не менее, оставшаяся часть несет в себе важную информацию для истории отечественной литературы. Приведем несколько выдержек из писем. В первом письме автор затрагивает бытовые вопросы, т. е. рассказывает о том, как искал квартиру для себя и своего многочисленного семейства. Надо сказать, что Александр Ефимович был женат на Екатерине Ивановне, урожденной Сотниковой, и имел шестерых детей: трех сыновей и трех дочерей. Служил он в Санкт-Петербургской экспедиции о государственных доходах, а досуг отдавал литературной деятельностью. А. Е.

Измайлов был на шесть лет старше своего друга и сослуживца Николая Федоровича Грамматина, который в 1812 году оставил службу в столице и переехал в Кострому, заняв место директора Костромской гимназии. Туда и посылал свои письма А. Е. Измайлов. Письма не датированы, но по косвенным признакам их можно отнести к 1814–1815 годам.

Итак, фрагмент первого послания (в скобках выгоревшие, но логически реконструированные слова):

"... Стоило мне трудов (найти) выгодное для себя жилище. Кварт (ира) (в) дальней стороне города, на песках у (самого) пруда или так называемого бассейна. Положение довольно хорошо и я надеюсь про(вести) лето весело, тем более что при нашем доле есть очень изрядный садик. Я подружился (с) моим хозяином Г. Стат.сов. Кайгородовым. Он большой любитель словесности, пишет комедии, акростихи бурилы и проч. и проч. В отношении похож он на общего нашего приятеля М. В. М., то есть не хуже его и стихи сочиняет и говорит на вириях, не лучше покойного Патрекевича. От скуки и то хорошо, есть чему посмеяться. Скажите куда от вас уехал Милонов? Его еще здесь по сю пору нет. Он оставил Петербург почти инкогнито. Одному сказал, будто он едет в Москву; другого уверил, что посылают его в Сибирь; третьему также сплел какую-то (небылицу). Прошу у вас извинения, что не мог (отдать) в С. О. (Сын Отечества) (ваши стихотворения) по причине, что зрелищеские стихотворения не входят в план его журнала (эп)тафии секретарю Когтину и

Сна Наполеона не пропустила здешняя инквизиц(ия). Если угодно вам будет впредь доставлять чрез меня к Гречу ваши п(ослания), то покорнейше прошу вас писать их на особом листочке, а не на том, на котором написано письмо, потому что я всег(да) их для этого переписывал.

Солнце просвещения стоит неподвижно, как стояло солнце при Иисусе Навине. Будьте спокойны: светило сие, кажется, не скоро еще оставит наш горизонт. Впрочем, если начнется затмение, то непременно вас об этом известь".

Первое письмо Измайлова Грамматину дает нам не только информацию о местожительстве автора, но и сведения о посещении Н. Ф. Грамматина в Костроме его другом поэтом М. В. Милоновым, а также проясняет, каким путем поступали стихи Грамматина в журнал "Сын Отечества", в котором сотрудничал А. Е. Измайлов (кстати сказать, в 1817 году он даже в отсутствии Греча редактировал журнал). "Сын Отечества" не единственное издание, которое публиковало стихотворения Грамматина: еще в 1809–10-м годах его первые поэтические опыты появились на страницах альманаха "Цветник", издаваемого А. Е. Измайловым и П. А. Никольским.

Что же касается местожительства А. Е. Измайлова, то описанный им дом стал на долгое время не только прибежищем для него и его семьи, но и редакционным помещением его будущего журнала. Этот же адрес упоминается в многочисленных объявлениях о продаже "Басен и сказок" А. Измайлова, опубликованных в журнале "Сын Отечества" за 1817 год. Кстати, этот адрес более точен и развернут, чем в обгоревшем

письме: "...продаются у сочинителя, живущего на Песках против бассейна между бывшей 9 роты и Итальянской слободки в доме Моденова под № 283".

Литератор действительно прижился там, что подтверждает в своих воспоминаниях В. П. Бурнашев, сделавший со своим родственником визит Измайлову в мае 1826 года. Он же создал выразительный, хотя и ироничный портрет хозяина.

"В одно из воскресений я вместе с моим дядей отправился к Измайлову, жившему в то время на Лиговке, против бассейна или пруда, служащего резервуаром каналу, в трехэтажном доме купца Моденова... Александр Ефимович занимал квартиру на втором этаже, куда надобно было взбираться по очень невзрачной лестнице... лестница оканчивалась какою-то безобразной стеклянной галереей. Стекла этой галереи были зеленовато-мутного цвета, никогда повидимому не мылись, а плитный пол ее был обильно испещрен голубиным пометом. Не зная дороги мы направились к двери, обитой сильно оборванной, ветхою пленкой... Вдруг дверь эта настезь отворилась, и мы услышали многогласное восклицание: "Гуль, гуль, гуль!" и тотчас в ответ на этот зов со всех верхних углов и с штукатуренных, полуобвалившихся карнизов, шумя крыльями, полетели различных мастей и пород голуби... Высокий широкоплечий мужчина в засаленном халате, с добродушным видом обильно сыпал им пшено, забирая его пригоршнями с огромного деревянного блюда. "А, милые гости, милости просим!" — приветствовал нас великан. — "Войдите в комнаты, я сейчас к вашим услугам", — говорил гобойным густым басом Измайлов, вводя нас в свою полутемную прихожую, где царил изрядный хаос и где с тарелок, расставленных на связках экземпляров "Благонамеренного", три собаки доедали остатки обеда.

Кабинет освещался огромным, во всю стену, итальянским окном,



А. Е. Измайлов.

которое выходило на стеклянную галерею. У самого окна стоял письменный стол, уродливо широкий, с разными шкафчиками и выдвижными ящичками. В кабинете стояло два кресла и два стула, все различного дерева... и стол карельской березы. К окну были прикреплены проволочные клетки с канарейками, на лежанке же лежала старая, грязная замшевая подушка, и на подушке этой, сопя и храпя, покоилась старая, курносая, брыластая моська, по имени "Венерка номер второй", так как "Венерка номер первый" скончалась тогда еще, когда Александру Ефимовичу было не более 15-ти лет.

Обозрев внимательно комнату, я стал рассматривать хозяина... В ту пору Измайлову было около 60-ти: черные, коротко выстриженные на затылке и на висках волосы довольно, однако, высоким коком взбитым над широким лбом, сильно серебрились седinou и походили на камчатский бобровый воротник; толстое широкое, круглое лицо его было изжелта бледного цвета, бакенбарды он не носил и брился очень гладко, а над широким здоровен-

ным и неуклюжим носом лежали огромные очки в черепаховой оправе"... Впрочем, таким Измайлов стал уже на закате жизни, во время написания писем Н. Ф. Грамматину он был бодрым тридцатипятилетним мужчиной. Обратимся к следующему письму А. Е. Измайлова к Грамматину:

"...Все ваши поручения я в совершенной точности, кроме одного, то есть не сказал от вас поклон батюшке: он оставил здешний негодный свет 9-го прошедшего месяца июля. Потеря сия тем чувствительнее для нас, что мы вовсе оной не ожидали... После батюшки осталось наличными денег только полтараста рублей, а долгу около двух тысяч. Спасибо доброму его начальнику Федору Петровичу Опочинину за то, что он выпросил у министра на погребение тысячу рублей. Я хлопочу теперь как бы продать оставшиеся нам в наследство с сестрою две деревеньки или лучше сказать два крестьянских двора в двух в разных губерниях и расплатиться с долгами...

... Стихи ваши напечатаны в (XI-VI) книжке Сын Отечества. Пантеона Русской поэзии вышло еще только два номера, которые, как полагаю доставлены уже теперь к вам от здешней Газетной экспедиции. Я послал нарочно туда от себя записочку, чтоб сии книжки немедленно к вам посланы были. По получении вашего письма, я не виделся еще с Павлом Александровичем, потому что он нынешнее лето живет на Крестовском острове и редко бывает в городе. По сей самой причине присланные от вас за Пантеон деньги 20 р. хранятся у меня. Впрочем должен я вам сказать, что сие издание здесь только стоит 20 р., а за пересылку следует от вас получить еще 3 рубля, кои заплачены будут не издателю, а Газетной Экспедиции.

Посылаю при сем к вам 12 экз. своих Басен и Сказок...

...Я печатал своих Басен 3000 экз., из которых по (сие) время разошлось у меня около 500 большею частью по Губерниям, а здесь

продаются оне у меня в одной только лавке Главного управления училищ. Дай Бог здоровье Чорту и Стихотворцу! Они в теперешних моих обстоятельствах сделали мне большое пособие.

Прощайте, любезнейший Николай Федорович. Надеюсь, что переписка между нами возобновится.

Преданнейший вам А. Измайлов".

Это второе письмо Измайлова мы уже можем примерно датировать, исходя из даты смерти его отца Ефима Петровича Измайлова, умершего (согласно Петербургскому некрополю) 9 июля 1814 года, а также упомянутой публикации стихов Грамматина в Сыне Отечества. За 1814 год их было всего два.

В С. О. 1814 № XI-VI, с. 105. Стихотворение "На смерть одной благородной девицы", датированное 3 сентября 1814 года, и стихотворение "Хор", петое при торжестве, происходившем в Костромской губернской гимназии июля 1 дня по случаю покорения Парижа и заключения мира между Россиею и Франциею.

"Торжествуй, славянов племя!..." —

Итак, письмо написано, скорее всего, осенью 1814 года.

1814 годом датируются и два номера "Пантеона Русской поэзии", называемого другом А. Измайлова — П. А. Никольским.

В 1814 г. выпшло 1-е издание Басен и сказок Измайлова.

Помимо своих трудов Измайлов посылал Грамматину и другие литературные новинки, то есть выступал в качестве комисионера. В 4-м письме он делает другу финансовый отчет:

"... Сочинения Державина 5 ч. в бум. 22 руб. Два экземпляра 2-й части Сочинений Озерова, за которые вместе с двумя первыми частями стоят 30 р. Талия Беницкаго 1-я часть 2-50=54 р. 75 к. Следовательно, из присланных от вас ко мне 75 р. остается еще у меня около 20 р. Сколько возьмут за пересылку, теперь не знаю, а

уведомлю вас после и буду ожидать разрешения вашего переслать ли к вам обратно остальные деньги, или купить на них какие книги...

Пантеона Русской поэзии вышло по сие время в публику только 7 книжек. 8-я, 9-я и 10-я давно уже отпечатаны и на сих днях вытущены будут из типографии. Пож(але)йте о бедном издателе их Павле Александровиче. Он чрезвычайно болен...

Помните, что Пантеон получите вы от меня, как только получу из цензуры билет на выпуск 8-й, 9-й и 10-й книжки, то немедленно оныя к вам доставлю. Я обещал Павлу Александровичу кончить непременно вместо его сие издание. Половина 22-й книжки уже напечатана, но прежде нового года невозможно будет окопчить Пантеона, ибо в типографии Академии Наук, где он печатается, заняты теперь календарями и все партикулярные работы там остановлены...

Ваш преданнейший слуга А. Измайлов."

Последнее, 4-е письмо относится к 1815 году. Дело в том, что альманах "Пантеон Русской поэзии" в полном комплекте, состоящем из 6 частей и 12 книжек, выходил в течение 1814–1815 года и, как видно из последнего письма, 11-ю книжку в связи с тяжелой болезнью Никольского издал сам Измайлов. Поскольку болезнь редактора окончилась смертью (29 сентября 1816 года), то скорее всего и последнюю, 12-ю книжку "Пантеон Русской поэзии" также издал Измайлов. Он был потрясен ранней смертью друга (Никольский умер на 25-м году жизни) и посвятил ему эпитафию, опубликованную позднее во второй редакции "Сказок и басен":

"Отличные имел Никольский дарования,

Ум зрелый в цвете лет,
Любовь к изящному,

обширные познания,
И сердце... может быть такого
больше нет.

Страдал в молчании от скорби
и недуга;
Страдал — и перестал, увы,
теперь страдать!
Несчастные отец и мать!
Несчастливая супруга!"

Имея положительный опыт в совместном издании журналов, Измайлов решается на создание самостоятельного периодического издания под названием "Благонамеренный". Журнал появился на свет в 1818 году и просуществовал до 1826 года. Именно в это время издатель получил место тверского вице-губернатора, а через пару лет был переведен на тот же пост в Архангельск. В обоих городах он боролся с административными злоупотреблениями и взяточничеством, но потерпел сокрушительное поражение. Местное чиновничество, подавая на него бесчисленные жалобы, наконец добилось увольнения. В 1830 году Измайлов вернулся в Петербург и был вынужден искать пропитание частными уроками словесности. Пробовал издать журнал "Любитель Отчественного", но болезнь и безденежье не позволили осуществить это начинание. 16 января 1831 года А. Е. Измайлов скончался от апоплексического удара.

Обнаруженные в Государственном областном архиве Костромской области четыре пространых послания Александра Ефимовича Измайлова своему другу Николаю Федоровичу Грамматину заполняют пробел в их переписке, опубликованной В. А. Борисовым в 13 и 14 номерах журнала "Библиографические записки" за 1859 год, и проливают свет на события, важные для истории отечественной литературы.

Елена САПРЫГИНА



ИЗ ПРОШЛОГО

ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ

I.

Детство. Юность.

...Отец мой при императоре Павле выпущен в гвардейскую артиллерию, но года через три оставил службу, отказавшись по требованию Аракчеева подписать ложный донос на одного из гвардейских офицеров. Из отставки отец мой был (в 1808 г.) вызван в милицию и стоял в Могилевской губернии, где женился на польке, принадлежавшей к одной из родовитых в Западном крае фамилий, Е. И. Комарь, от которой имел только одну дочь. В 1823 году отец мой был назначен советником Костромского губернского правления, вскоре женился на моей матери, С. Г. Змиевой, которая умерла, когда мне было три года, от холеры. В конце двадцатых годов назначен был губернатором в Кострому С. С. Ланской, бывший министром Внутренних Дел. Это был честный, умный и энергичный администратор, каких редко встречаем и теперь, не только в ту отдаленную эпоху. Кострома до сих пор не забыла времени его губернаторства, когда открыта была вольная продажа с судов, на съестные припасы установлена была такса, а богоугодные заведения Приказа Общественного Призрения, куда вскоре по приезде Ланского он перевел моего отца, приведены были в блестящий порядок, так что, осмотревши их в 1835 году, покойный Император Николай Павлович сказал: "Развалины гнилы (действительно деревянные постройки были очень ветхи), а содержаны так, как дай Бог у меня в Петербурге". Большая и гостеприимная семья Ланских очень много дела

Нил Петрович Колкопанов (1827-1894) — писатель, публицист, общественный деятель.

В 1860-е годы редактировал газету "Санкт-Петербургские Ведомости", которая под его руководством стала самой популярной и читаемой газетой столицы.

Лучшие русские журналы и газеты — "Вестник Европы", "Юридический вестник", "Русская мысль" — печатали его статьи, посвященные неизменно "жгучим вопросам современности": о земском и городском самоуправлении, о крестьянской реформе 1861 года и ее последствиях, о судебном устройстве России и ее охране, о народном просвещении и образовании.

С Костромой Н. П. Колкопанов был связан и происхождением, и служебной, и общественной деятельностью. В разное время он исполнял обязанности веплужского земского исправника, председателя дворянства Веплужского уезда. Устраивал земские школы и прогимназию в г. Веплуге, хлопотал вместе со своими друзьями братьями Лугишными о развитии крестьянских промыслов и сельских ссудосберегательных товариществ и о многом другом.

Похоронен вместе с сестрой и отцом в Инатьевском монастыре. Могила не сохранилась.

да для местного общества: здесь оно впервые познакомилось с настоящим барским домом и выучилось проводить время, как прилично образованному дворянству, устраивались блестящие балы, живые картины, домашние спектакли, детские вечера. Отец мой вошел в самые близкие отношения с С. С. Ланским, а сестра моя сохранила до самой смерти

искреннюю приязнь его дочерей. Дом моего отца, несмотря на очень ограниченные средства, принадлежал к числу более интеллигентных; особенным радушием принимались прибывшие не по собственному желанию. Так, в детстве я помню генерала польской службы Вейсенгофа, а потом в сороковых годах М. С. Пилецкого, бывшего инспектора классов Царско-Сельского лицея времен Пушкина, заключенного в Суздальский монастырь за принадлежность к секте Татариновой, а потом водворенного в Костроме.

Отец мой состоял в родстве с вологодским магнатом П. А. Межаковым. Межаков был один из образованных помещиков того времени и жил в великолепном своем имении Кадимковского уезда, где у него был превосходный оркестр из крепостных, известный конский завод с английскими выписными жеребцами, большие оранжереи и громадный сад с прудами. Обширная родня Межакова собиралась в его Никольском и проводила время гораздо осмысленнее и разнообразнее, нежели на обширных помещичьих съездах: давались домашние спектакли, разыгрывались шарады на французском языке, оркестр играл серьезную музыку и аккомпанировал пению. Межаков давал блестящее воспитание своим детям, и с ними получила образование моя сестра. По зимам Межаков ездил в Петербург, возвращался там в литературном кружке и сам издал свои стихотворения в 1818 году, под именем "уединенного певца".

Отец мой был в очень близких отношениях с П. А. Катениным, который всегда останавливался у

нас в доме. Я его, как теперь, помню: низенького роста худенький старичек с усами, чрезвычайно умный и подвижный, ужасный спорщик и ненавистник Жуковского. Как самое категорическое доказательство "негожести" (это любимое выражение Катенина) Жуковского, Катенин приводил, что начало его баллады "Громваль" можно читать как угодно, — и прямо и наоборот. Обыкновенный кружок моего отца составляли: известный Ю. Н. Бартев, тогда директор местной гимназии; ректор семинарии архимандрит Афанасий, переведенный потом ректором в Петербургскую Академию и скончавшийся Саратовским архиепископом, один из самых умных и ученых наших иерархов, замечательный лингвист, хорошо в то время знакомый с немецкою философией; ссыльный архитектор Фурсов и раскольник поморского толка Н. А. Папурин*. Часто это разнохарактерное общество собиралось вместе. Фурсова я едва помню, он обращал мое внимание только тем, что всегда был пьян, да еще отвращением, которое вселял моей сестре; но оно было понятно: неприятно вообще, когда к кому-нибудь, а особенно к девушке пристаёт пьяный, и еще в добавок — некрасивый, — Фурсов был ярко-рыжий, с длинным и красным носом, — а тут отец очень уважал Фурсова и требовал, чтобы сестра была с ним любезна и предупредительна. Фурсов построил в Костроме не много зданий, — из них лучшие каланча и гауптвахта, — оба обезображены и не похожи на свой первообраз. Особенно жаль каланчи; ее изящный, на четырех коринфских колоннах портик сохранился до сих пор, и красиво, точно в виде упрека, выступает на площади; прежде вся каланча состояла из ажурных ярусов, поддерживаемых такими же колоннами и точно летела в воздух, а теперь все это обшито тесом и окрашено желтою краской... Покойный государь Николай Пав-



Император Николай I.

лович долго стоял и любовался каланчей, а затем сказал: "такой у меня в Петербурге нет". С раскольников Н. А. Папуриным отец познакомился по следующему случаю. В должности советника губернского правления, отцу приходилось решать раскольниковы дела: разумеется, он решал их по справедливости и без взяток. Когда отец перешел в Приказ Общественного Призрения, к нему пришел Папурин и сказал: "Пока ты, Петр Николаевич, служил в правлении, я к тебе не ходил, потому что у тебя были наши дела, а теперь мы с тобой люди посторонние, я пришел поблагодарить тебя, мы к этому не привыкли; денег я тебе не принес, знаю, что не возьмешь, а прими от нас русское спасибо!" и старик низко поклонился. С тех пор отец мой и Папурин были приятелями, по целым вечерам толковали между собой и по несколько раз вынимал Н. А. свой стаканчик из кармана, бережно обтирал его своим же полотенцем, чтобы промочить горло чайком. Меня всегда поражало в детстве, отчего этот старик, в грубой серой или синей поддевке, зимой в валеных, а летом в смазных сапогах, преважно рассиживает в гостинной, тогда как все остальные стоят в перед-

ней. А Папурин был темный богач; он считался чем-то вроде патриарха между поморскими сектистами; кроме своих денег распоряжался складным раскольниковым капиталом и находился в близких отношениях к Преображенскому кладбищу. Папурин широкою рукою рассыпал подаяния, сгорит деревня — страхования тогда не было — погорельцы — гурьбой к Папурину и несут домой по десятку рублей или больше на дом хозяина; несчастье кого постигло в округе, к кому идти, как к Николаю Андреевичу, — и никто не возвращался с пустыми руками.

Папурин по своим делам, — он вел большую заграничную и внутреннюю торговлю, — часто ездил в Москву и Петербург, всегда заходил по возвращении и оставлял после себя неизменно в кулечке фунт чаю и голову сахару "в гостинец"; отделаться от этого было нельзя, — "так это следует, говорил Папурин на возражения отца, ты, Петр Николаевич, и говорить не можешь, иначе ходить не буду"; отец рассказывал, что Папурин, возвратясь, представлял живую летопись, и не было ни одного самого секретного дела или предназначения, о котором Папурин не сообщил бы самых верных и точных сведений. Раз поутру, — это было уже в сороковых годах, когда я студентом гостил на Рождестве дома, — отец сильно расстроенный вернулся от губернатора и сказал мне: "Съездим, пожалуйста, со мной в Судиславль, у меня там неприятное дело, мне очень тяжело". Минут через десять подъехала почтовая тройка, и мы сели. Дорогой отец мне рассказал, что ему велели взять Папурина. Незадолго перед этим из Петербурга наехала комиссия по раскольниковому делу, под председательством гр. Стенбока, составленная из образованной и приличной молодежи. Это было нечто вроде испанской инквизиции, только без костров: хватили всякого по малейшему подозрению, давали на розыски деньги разным проходцам, сообщавшим ложные

* Правильно — Папулин. Прим. ред.

сведения; порьмы, места заключения, наемные помещения в деревнях, все было наполнено заключенными, и отсюда они веренищами шли в Сибирь, под именем совратителей, расколоучителей и т. п.

Дошла очередь и до Папурина. У Папурина в Судиславле построен был огромный странноприимный дом, обнесенный высоким забором, где жили старцы и старицы и где, может быть, укрывались беглые из крепостного права, находившие приют у раскольников. Про этот дом ходили самые фантастические легенды: говорили о подземельях, о потайных выходах, о целых сотнях жильцов. Следователи, очевидно, боялись ступить за высокую ограду. Ночью губернатор получил эстафету: отправиться самому взять Папурина или поручить это дело самому доверенному в губернии лицу, по высочайшему повелению. Губернатор дал это поручение отцу. Как он ни отговаривался и тем, что это не входит в его обязанности, и тем, что личные его отношения к Папурину не позволяют ему взять на себя такое поручение, — губернатор отвечал: "Вы видите, я болен, другого я в виду не имею, и потому мне остается донести о вашем отказе". Пришлось согласиться. "С Богом, утешал начальник губернии, желаю вам успеха, а меры я принял, еще ночью на переменных подводах отправлена рота из полка, жандармский дивизион к вашим услугам". "Мне никого не надо, ваше превосходительство, я поеду один". Приехали в Судиславль на почтовую станцию; на крыльце — исправник, городничий и кучка стеновых и квартальных, местных и командированных из Костромы, около станции — еще многочисленнее кучка сотских и десятских с значками, улица запружена народом. После обычной явки отец спросил: где Папурин? Никому неизвестно — был ответ. "Какие будут приказания?" — "Никаких; сделайте милость, разойдитесь все по домам и не оставяйте мне никого: кого нужно будет, я позо-

ву, а теперь я желаю часа три, четыре отдохнуть". Когда все разошлись, мы с отцом сели пить чай; не более, как через полчаса вошел Папурин и стал в дверях. Прошла минута тяжелого молчания, Папурин заговорил первый. "Не думал я, Петр Николаевич, что мы с тобою так встретимся; хорошо они сделали, что тебя прислали, а то наискались бы они меня, а тебя мне не хотелось бы подводить, да и уж один конец! Делай, Петр Николаевич, что тебе приказано!" Отец пригласил Папурина напиться чаю. Тяжело было смотреть на двух стариков, приятелей между собой, поставленных в такое положение; молча и как-то машинально пили они свой чай и не смотрели друг на друга, а тем временем закладывали кибитки, и скоро почтовый колокольчик сказал изумленным чиновникам что "арестанта увезли".

Толпы раскольников-поморцев из Костромской, Вологодской и других губерний шли в монастырь поклониться заключенному. Раз как-то занес большую просфору отцу один из таких пилигримов, по необыкновенному случаю. Отец мой был страстный и, конечно, несчастный игрок в карты. Раз он проигрался так, что пришлось заложить дом, в котором мы жили. Срок пришел, а денег нет; пришлось выбирать-ся из дому; уже приискана была квартира, готовились к переселению; разумеется, все в доме было кисло, и ходили, повеся голову. Пришел отец и сел за обед; тотчас вошла няня, старуха-домоправительница и подала просфору и с ней письмо. "Вот вам принес какой-то богомолец, просил вам отдать, а главное — письмецо, что-то, говорит, очень нужно". Отец молча положил просфору и письмо. К концу обеда он развернул письмо и, что называется, застыл от изумления, а на лице появилось радостное чувство; молча передал он бумагу сестре. В письме не было ничего, кроме ломбардного билета на имя неизвестного, именно в ту сумму, какую нужно было внести

для выкупа дома. Как ни невероятно это происшествие, но я его передаю совершенно так, как я его запомнил.

Во время служения отца моего в Приказе Общественного Призрения в Костроме в тридцатых годах открыто было училище детей канцелярских служителей для приготовления низших канцелярских служителей. Это был интернат на 50 человек, с курсом равным уездному училищу и с особыми классами по делопроизводству и бухгалтерии. Училище было любимым детищем моего отца. Началось с дома. Строительное отделение составило смету каменного трехэтажного дома, в 120.000 р. асс. Тогдашнему губернатору С. С. Ланскому смета эта показалась невероятно дорогою, и он уговорил отца моего произвести постройку хозяйственным образом, для чего и было ему отпущено авансом 60000 руб. Я помню, с каким рвением отец следил за постройкой, точно самый заботливый хозяин за собственным домом: с утра до ночи он был на работе, ни один кирпич не клался в важных местах без его наблюдения. Окончивши постройку, отец из выданных ему 60000 руб. представил 30000 руб. экономии. Вскоре приехал (в 1835 г.) император Николай Павлович в Кострому. Об этом факте было ему доложено. Государь обошел и тщательно осмотрел весь дом, подробно расспрашивал о постройке, на крыльце он обернулся к отцу и сказал: "Покорно вас благодарю". Из Костромы государь поехал на почтовых в Нижний, и на третьи же сутки особый курьер вручил отцу моему от имени государя бриллиантовый перстень в 10000 руб. асс. Прошло слишком десять лет, в Кострому приехал главноуправляющий путей сообщения и публичных зданий, граф Клейнмихель. Кому неизвестно, с какою надменностью третировал всех приближавшихся к нему суровый временщик и как часто жестокая кара постигала за малейшую неисправность лиц, даже не его ведомства, не умевших ему



угодить. Городские власти, с губернатором во главе, собрались спозаранку для представления. Министр вышел очень поздно, едва поклонился, молча, надвинувши брови, исполнил обряд представления и удалился, также не сказавши ни слова. Отец мой имел привычку в 2 часа возвращаться из приказа, сейчас же садился за обед и ложился спать. На этот раз отец позже двух часов вернулся в представления, усталый, измученный и не совсем довольный, и за обедом рассказывал сестре и мне, какое неприятное впечатление произвел на него Клейнмихель, рассказывал про известные его отношения к Аракчееву и несколько примеров его жестоких взысканий, а затем, по обычаю, лег спать. Едва успел он уснуть, будит его человек и докладывает: "Вас спрашивают". "Кто?" — отозвался сердитым голосом отец. "Граф Клейнмихель". Тогда отец невольно привстал и уставился на человека: "Послушай, ты или с ума сошел или напился так, что не понимаешь, что ты говоришь!" "Извольте посмотреть, они в зале".

"Да какой он из себя?" "Генерал со звездами". Отец поспешно оделся и вышел: действительно по залу ходил большими шагами гр. Клейнмихель. Отец пригласил неожиданного гостя в гостиную. Клейнмихель, севши, отчетливо, как при докладе, отчеканил: "Я к вам приехал по Высочайшему повелению. Когда я перед отъездом откланивался Государю, Его Величество изволил спросить, какие губернии я намерен обозреть; я перечислил их, в том числе и Кострому. Тогда Государь изволил сказать: будешь в Костроме, узнай, служит ли там непременным членом в приказе Коллюпанов; если он там, то ты к нему съезди и попроси его, чтобы он научил тебя строить, как ни ты, ни твои подчиненные не умеете". Трудно было отцу найтись вдруг ответить что-нибудь, очевидно, не в приятном настроении приехавшему гостю, а Клейнмихель, воспользовавшись молчанием хозяина, встал и уехал.



Костромской губернатор
С. С. Ланской.

В училище собрано было все, что можно было найти живого и выдающегося в педагогической сфере того времени. Смотрителем и преподавателем русской словесности был уже упомянутый мною В. Е. Иванов, которого отец упросил перейти из учителей гимназии. Иванов был кандидат университета, что тогда было редким, — во всей Костроме их было только двое, — очень умный и образованный человек, усердно следивший за русскою литературой и журналистикой. Арифметике учил Н. П. Самойлович, о котором я скажу в своем месте. Преподавателем истории был штатный смотритель Костромского уездного училища И. П. Алякритский, также очень живой и умный человек, местный поэт, автор большой поэмы "Рогнеда" и нескольких, правда довольно плохих, стихотворений, помещенных в последних годах "Вестника Европы" под редакцией Каченовского. Поэтому не удивительно, что уровень образования в училище был далеко выше того, какого бы следовало ожидать по программе. Начальники присутственных мест на перерыве стремились записаться кончившими курс в училище, поручая им сразу должности столоначальников и секретарей; а некоторые, в особенности из первых курсов, которые были необыкновенно удачны, — поднялись со временем

еще выше. Надо сказать при этом, что училище было возможно облагорожено; телесное наказание — необходимый педагогический прием того времени не только в корпусах и гимназиях, но даже в женских институтах — было совершенно изгнано и ни разу не применялось во всю службу моего отца. Часто по пяти, шести воспитанников по воскресеньям приглашались к нам в дом, и здесь происходили чтения и небольшие домашние спектакли с приличным угощением.

В детстве я почти каждый день ходил играть с воспитанниками в большом тенистом саду при училище. Играли в лапту (игра с мячиком), городки и др. игры; но самая любимая игра была, конечно, в солдаты. У зрителя был сын мой сверстник, поступивший также после гимназии в Московский университет, но очень скоро его оставивший. Это был молодой человек, страстно преданный литературе и обладавший некоторым талантом; один из его рассказов ("Капустница") А. Ф. Писемский, который очень высоко ценил его способности, поместил в "Москвитяине" сороковых годов. А. В. Иванов был впоследствии учителем в Костромском уездном училище, но окончательно спился и погиб в самом отвратительном обществе. Изображая двух полководцев, мы с Ивановым набирали мальчиков, стараясь завербовать самых сильных п взрослых, производили различные маневры и наконец вступали в сражение...

С благоговением сохраняю я написанную прекрасным каллиграфическим почерком (этим всегда отличались воспитанники канцелярского училища), с рисунками пером, молитву апостолам Петру и Павлу, которую, по собственному почину, поднесли отцу моему в день именин ученики, в знак "детской признательности", — это единственное, но дорогое для меня наследство со стороны отца...

("Русское обозрение". М., 1895, № 1, публикуется в сокращении с сохранением орфографии.)

ПОВЕСТВОВАНИЕ ГОСПОДИНА БРЕМЕРА О ПОСОЛЬСТВЕ В КИТАЙ РУССКОГО ПОСЛАНИКА Л. В. ИЗМАЙЛОВА

В наши дни нетрудно преодолеть Великую китайскую стену. При желании можно многое узнать о культуре, истории, экономике Китая, который довольно долго жил обособленной, замкнутой жизнью.

Россия неоднократно делала попытки, начиная с начала XVII века, установить торговлю с этой страной. В Китай отправлялись торговые караваны и посольства, но последние не давали положительных результатов. Послов принимали, выслушивали, кого более, кого менее любезно и отправляли домой...

7 сентября 1719 г. из Москвы выехал лейб-гвардии Преображенского полка капитан Лев Васильевич Измайлов в чине чрезвычайного посланника для заключения торгового договора. 18 ноября 1720 г. он торжественно въехал в Пекин и через 10 дней получил аудиенцию у императора династии Цинь Кан-Хи, имел с ним беседу, был принят, как дорогой гость. Но в Москву посланнику пришлось вернуться без успеха — предложения о свободной торговле, устройстве православного храма, постоянном нахождении в Китае русского генерального консула и вице-консулов были отклонены. В качестве объяснения китайцы заявили о том, что торговля считается у них делом нечестным, и для нее не стоит русскому агенту жить в Пекине.

Вскоре после отъезда Л. В. Измайлова из Пекина пришлось покинуть страну и оставленному им там агенту Лангу. Один из сопровождающих Ланга, некто господин Бремер, оставил нам свое сочинение о посольстве Измайлова.

Бремер писал на латыни, которую затем перевели на русский язык. Этот перевод, или список с него, сделанный в конце XVIII — начале XIX века (судя по бумаге, рукопись не подписана и не датирована) попал в руки Николая Николаевича Селифонтова (1835–1900). О нем много писала костромская пресса. Напомним лишь, что человек этот был талантлив на разных поприщах: статс-секретарь, действительный статский советник, сенатор, председатель департамента духовных и гражданских дел государственного совета. Для нас же сейчас важнее то, что Селифонтов был историком, страстным собирателем старинных рукописей, грамот, архивов. С 1891 г. Николай Николаевич возглавлял Костромскую губернскую ученую архивную комиссию, куда и были впоследствии переданы его коллекции документов и библиотека. Фонд Н. Н. Селифонтова в Костромском областном архиве — один из интереснейших. В нем есть целая группа документов о сношениях России с Китаем и Японией, откуда мы и извлекли предлагаемую к прочтению рукопись.

Лариса КОВАЛЕВА.



1720 году отправлено было посольство от Петра Великого императору Кан-Хи для склонения китайского монарха, чтоб он согласился на всегдашнее пребывание в Пекине российского агента для содержания доброй приязни между двумя империями. Посол исполнил счастливо порученное ему дело, оставив г. Ланга в Китае в качестве российского агента, а при нем г. Бремер, который сочинил на латинском языке повествование о помянутом посольстве, а я здесь делаю из него

переводом выписку, опуская все то, что происходило до прибытия посла на китайскую границу, и читаю здесь только то, что может служить к объяснению о китайском народе.

В 22 день сентября 1720 г., говорит Бремер, навьюча скарбом наших верблюдов, а сундуки с подарками от двора на возы, сели мы на лошадей и вступили на китайскую границу...

Китайский император содержит чужестранных послов на своем издвении со дня прибытия их в его владения до дня отъезда из оных... Свита российского посольства со-

стояла почти из ста человек, а давали ей на пищу по 15 баранов на день...

3 октября наехали мы на берегу реки Толю множество татар кочующих с их стадами... Россияне утверждают, что земли на запад сей реки принадлежат им и что река служит природною границею между обеими империями.

14 октября не могли мы напоить наш скот, ибо колодези наполнялись песком сколь скоро их вырывали. Сей песок столь сух и легок, что ветер несет его в лицо, и от него невозможно иначе защититься, как с помощью сетки из лошади-



ных волос, которую надевают на лицо.

Прошло уже шесть недель, как мы оставили границу и ехали не останавливаясь ни одного дня и не увидев ни одного дома, а, иногда, принуждены сворачивать с прямой дороги, чтобы найти воду. 2 ноября увидели мы большую стену²... Мы продолжили путь наш на полдень и часто в каменных горах видели хижины, окруженные небольшими полями, весьма похожие на деревенские виды, кои пишутся на китайском фарфоре. Европейцы почитают их вымышленными, но они сняты с природы...

Наконец, прибыли мы к славной стене и въехали в одни ворота, которые запираются каждую ночь. Караул при них состоял из 1000 человек под командою двух знатных офицеров: одного китайского, а другого татарского. Помянутые офицеры со множеством других подчиненных пришли поздравлять посла с благополучным прибытием и звали его пить чаю. Слезши с лошадей вошли мы в превеликую залу, нарочито построенную для принятия отменных гостей. Тут подчивали нас разными плодами и заедками, а спустя полчаса посол отправился в путь.

Командант первого китайского города, в который мы прибыли, выехал навстречу послу и проводил его до приготовленного ему дома, прислал ему припасов и звал ужинать. Дворецкий сидел на полу и отправлял проворно свою должность. Он резал мясо на такие мелкие куски, что оставалось их только проглотить, и отдавал их слугам, кои служили с великим рачением и без малейшего шума. По принесении плодов ввели 10 или 12 музыкантов, из коих большая часть играла на разных духовых инструментах, но совсем на наших не похожих. Потом забавляли нас пляскою, коей начало полагают в первых временах монархии... Во времена древних династий китайская пляска не в одних только простых телодвижениях заключалась, как ныне... Та, которую плясали пред послом, была весьма славна дейст-

вием, кое происходило в свое время. Плясуны выходили с северной стороны и представляли Ву-Вана, который родясь в одной из полных провинций империи приблизился к полуденным и там прожил некоторое время. Учиня несколько шагов переменили оне тотчас порядок, в коем вошли, и изъявляли хватками и оборотами приготовление к сражению, сим представляли также Ву-Вана, который бился с Джеу, победил его и учинился победителем королевства, положив навсегда конец династии



ПОСЛАННИКИ ОСМАТРИВАЮТ ПАГОДУ *

тии Шан... Потом плясуны составили одну шеренгу, означая границу, положенную империи победителем. Представляли министров, кои мудрым управлением и содействием своим помогали Ву-Вану нести бремя царствования. Наконец, став недвижны, как камни, изъявляли подчиненность всех провинций, призвавших его своим государем³.

Таково было содержание сей пляски. Сочинитель оной не меньше помышлял о предании потомству славнейшего происшествия, описуемого в летописях империи, как и о внушении своим современникам, сколь велика была добродетель, мудрость и храбрость наивеличайшего императора из династии Чеу⁴.

Когда встали мы из-за стола, один чиновный созвал наших слуг и посадил их на наши места, что произвело смешное зрелище. Ибо

мы должны были им дать волю, чтоб не оскорбить хозяина.

В каждом городе, через который мы ехали, делали нам те же почести.

Во многих местах за музыкаю следовала битва перепелов... Китайцы страстно любят сей род забавы и бьются об заклад за своих перепелов, как англичане за лошадей.

Верст за 10 от Пекина Двор выслал двух мандаринов⁵ поздравить посла со счастливым приездом. Они привели несколько лошадей для нашего выезда, который исполнялся следующим порядком: один офицер с обнаженною шпагою, три рядовых, литавщик, двадцать четыре рядовых по три в ряд, дворецкий, двенадцать лакеев, два пажа, три переводчика, посол и один знатный мандарин, два секретаря, шесть дворян по два в ряд и множество слуг. Все одеты великолепно. Военные люди были в мундирах и с ружьями. Китайцы не согласились, чтоб они обнажили сабли, а позволено было сие одному офицеру.

По двучасном шествии в превеликой пыли и посреди несчетного множества зрителей вступили мы в город чрез большие Северные ворота, от коих простирается прямая предолгая улица. Она была полита, чем спаслись мы от первой пыли. Для очищения дороги наряжено было 500 человек конницы, но, несмотря на сию предосторожность, народа столь было много, что мы с превеликим трудом могли ехать. Много женщин, сняв покрывалы, стояли в окнах, в дверях и по углам улиц... Наконец, прибыли мы в ту часть Пекина, которая называется Татарским городом, и где был отведен нам дом...

В десять часов вечера караульный офицер запер наши ворота и приложил к ним императорскую печать, чтоб никто не смог войти в дом или из него выйти ночью. Здесь имеют обыкновение пресекать все сообщение между чужестранными послами и жителями, пока первые не получили аудиенции у императора.



Первый министр, приехав к послу, имел с собой церемониемстера и пять иезуитов⁶. Сколь скоро приблизились они к воротам, выступили наперед два служителя, делая небольшой шум, как то обычно чинится, когда идет какой знатный человек. Китайский министр просил посла дать ему копию с верующей своей грамоты, в чем сперва было ему отказано. Но пояснили ему, что император не принимает никаких писем не зная их содержания и от лучших своих друзей, между коими считает Его Царское Величество. И он дал копию на латинском языке, ибо подлинник был на русском. Министры перевели его на китайский, а после вышли. Первый министр остался у посла и разговаривал с ним о разных предметах. Император прислал одного чиновника наведаться о посольском здоровье, за ним четыре человека несли стол, покрытый желтым штофом, на коем поставлены были разные плоды и заедки, и в середине баранье плечо. Чиновник сказал, что все сие снято с императорского стола... Сие почитается здесь за особый знак милости.

На другой день приехал министр чужестранных дел, и разговор был об обряде при аудиенции. Приказ обрядов наблюдает оные столь прилежно, что прежде нежели посол пойдет на аудиенцию, должен он несколько дней учиться, как комедиант, собирающийся представлять на театре. Но нашего посла избавили от некоторой выступки, употребляемой в Китае для оказания почтения должного Государю. Сия выступка, или лучше сказать бег, почитается здесь за столь же приятную учтивость, как поклоны в Европе.

Посол сам хотел поднести грамоту императору и избавиться от тронного земного поклона при вступлении в комнату, где стоит трон. Его уверили, что сие требование совсем противно обыкновению, введенному в Китае от древних времен. Что грамота кладется на стол, и что вручается она Его

Величеству чиновником особо к тому назначенным. Определено, наконец, что посол будет сообразоваться обыкновению с тем, что когда китайский император пошлет посла в Россию, то даст ему повеление сообразоваться тамошнему обычаю.

В день аудиенции многие придворные господа в великолепных одеждах собрались к нам в дом для провожания нас на двор. Мы прибыли туда около 10 часов утра, и сойдя с лошадей у ворот с немалым удивлением увидели между караульными солдатами одного из первых придворных вельмож. Он по-



ИМПЕРАТОР ЖАЛУЕТ ЗАЕДКИ СО СВОЕГО СТОЛА

ставлен был в наказание за преступление. Иногда принуждают провинившихся министров мести двор, но из почтения к прежнему чину, несмотря на их несчастье, кланяются им однакож, став на одно колено.

Привели нас в залу, где подносили нам чаю в ожидании прибытия императорского. Оттуда шли мы чрез пространный двор, у ворот которого стояли три черные слона вместо часовых. На спине у них были башни весьма хорошо вызолоченные. Стечение народа и число караульных было невероятное. Два татарские вельможи пришли за нами и ввели нас на другой двор, окруженный офицерами и солдатами, и потом на третий, откуда входят в залу аудиенции. Мы нашли всех министров и государственных

вельмож, сидящих на подушках пред дверьми на чистом воздухе. Для посла и некоторых из его свиты были оставлены места, где мы зябли, пока не пришел император. Между тем наблюдалось глубокое молчание. По обеим сторонам трона стояли сто двадцать солдат, при коих каждый держал особое знамя цвета своего платья. 22 офицера имели на руке желтые щиты, коих вид представлял солнце. Другие, в большом числе, держали штандарты, а позади всех рядов стояли разные богато одетые придворные, что весьма умножало великолепное зрелище.

Император, окруженный великим числом мандаринов, статских министров, князей крови, сидел на возвышении по-татарски.

Платье его было из темного штофа, а полукафтан из голубого атласу. На шее корольковая цепь, а на голове шапка, опущенная сободем, с которой висели на левую сторону несколько павлиньих перьев, с красною шелковую кистью.

Церемониемстер взял посла за руку, а другую посол держал грамоту, которая положена была на стол, как о том соглашено. Но император сделал ему знак приблизиться. Тогда он взял грамоту и подошел к трону с первым министром, стал на колени, положил ее пред императором. Сей император коснулся его рукою и спросил о здоровье Его Царского Величества, и сказал послу, что он избавлен от обрядов в уважение дружбы к его Государю.

Вводитель отвел посла назад, и один чиновник прокричал во весь голос повеление предстоящим стать на колени и поклониться девять раз Его Величеству, что и нам должно было исполнить. Помянутый чиновник стоял и кричал по-татарски: согнитесь, встаньте. Что было повторено 9 раз.

По окончании всего сего вводитель повел посла и дворян посольства в залу аудиенции. Мы сели на правую сторону трона на подушках, имея у себя за спиною трех

придворных министров, которые по переменкам служили нам переводчиками. Император позвал посла, взял его за руку и разговаривал с ним дружески о разных вещах. Поднес ему золотую чашу с теплым вином, сделанным из хлебных зерен. Чаша была подаваема всем дворянам. Мы пили за здоровье Его Величества и он нам сказал, что сие питье укрепит нас против стужи. Сын императорский, министры и вельможи сидели по левую руку трона. Потом пришли туда десятеро внуков императорских. За ними следовала толпа музыкантов. Зала наполнилась людьми, но все было тихо. Словом, царствует при сем Дворе как порядок и благопристойность, так великолепие и огромность.

Как время приблизилось к полудню, то приготовлен был обед. Поставили пред нами небольшие столы с плодами и заедками, потом принесли мясное кушанье. Император прислал к послу многие блюда со своего стола и, между прочим, несколько фазанов. Во время стола играла музыка, один старый татарин пел военную песню, потом молодая татарка пела и плясала. После того вошли две девочки, кои также плясали. За ними следовали скакуны, кои делали разные движения на дворе, а их место заступили борцы и бойцы.

Появились потом два отряда татар, одетых в тигровые кожи и делали род сражения и пляски. Потом один из сыновей императорских, имеющий лет 26, плясал в зале и привлек на себя внимание зрителей. Его Величество был очень весел и доволен. Он несколько раз присылал к послу спрашивать, нравились ли ему сии утехы, прибавляя, что он сам совершенно понимает, что татарская музыка не может полюбить европейца, но что всякому сродно предпочитать свою чужой. По долгом разговоре оставил он трон и пошел в свой покой. Вечеру был фейерверк, который зажег сам император из своей галереи. Сие зрелище, превосходящее все то, что я могу о нем сказать, превьшало не только мое

ожидание, но и все о них повествуемое. Кан-Хи говорил послу, что сия потеха известна в Китае более 2000 лет.

На другой день один мащарин и два секретаря пришли к нам в дом за реестром подарков, присланных от российского императора. Оный состоял в дорогих мехах, часах стенных и карманных с бриллиантами, с репетицией, в зеркалах и проч. Было также представление на кости Полтавской батальни, выполненное самим Петром Великим. В тот же день принесли нам плоды и заедки, оставшиеся накануне, а несли их с церемонией по улицам под желтыми покрывалами и пред



ГОСПОДИН РУССКИЙ ПОСОЛ УБИВАЕТ ТИГРА *

ними шел чиновник придворный. В следующие дни император прислал к послу другие китайские кушанья со своего стола. Отличность, каковую он редко оказывает.

Мы приблизились к 15 числу января, который был первый день Новой Луны и, по исчислению китайцев, 1 день нового года. Оный начался великим торжеством во всем городе, и с сего дня не видели мы ничего кроме игр, праздников, увеселений, пиров..., деланных послу то самим императором, то придворными господами; первый министр показывал нам кабинет любопытных вещей, произведенных природою или искусством. Велел показать нам слоновий зверинец, представляли для нас разные комедии, но в коих не нашел я никакой связи.

Посол во время своего пребывания в Пекине имел многие особенные аудиенции у Его Величества. Император с ним дружески на оных разговаривал о разных вещах, как человек знающий и философ.

Император пригласил посла ехать с собою в загородный дом на охоту. Сей дом, в коем посол был со всею своею свитою чудного строения, но прекрасный. Представьте себе великое пространство земли, испещренное небольшими горами, кои насыпаны человеческими руками и покрытое цветущими деревьями. Долины орошаются извирающимися каналами, которые соединяются в некотором расстоянии и составляют пруды и озера. На берегах каналов стоят дома как с наружи так и внутри весьма хорошо убранные. Таковых дворцов считают здесь до 200, а оные окружены домами для внуков и служителей. К сему прибавить должно город, порядочно выстроенный посредине всего места нарочно для того, чтобы дать императору понятие и зрелище, как живут люди. Все, что велико в Пекине, здесь в малом виде. Государь, построивший его, имел намерение забавляться, когда придет охота, шумом городской жизни, ибо Величество Его не позволяет ему наслаждаться таковым позорищем в столице. Он там ничего не видит, когда выезжает из дворца: лавки все закрываются, подданные прячутся и никто не смеет показаться на улице. И дабы наградить увеселение, коего он лишается по причине своего достоинства, построен сей городок. В нем заставляют внуков представлять торговлю, рынки, художников, жителей, ходящих по улицам и, даже, мошенников, бывающих в больших городах и проч. Император ничуть не отличается от подданных. Каждый кричит, что ни есть, бранятся, бьются, дозор берет под караул, ведут в приказ и проч. Товары раскладенные принадлежат пекинским купцам, вверяющим оные внукам для настоящей продажи, ибо император много тогда покупает, и вы

сами догадаетесь, что продают ему как можно дороже.

В день, назначенный для охоты дан знак, что император поднялся. Все вельможи стали рядами от самого крыльца до дороги, ведущей в лес. Все они были пеши и вооружены луками и стрелами. Император сидел в палантине. Мы следовали за ним на некотором расстоянии до леса, где составили полукруг. Государь стал в середине, имея на правой руке 10 или 12 сыновей, а на левой, в 50 шагах, посла. При нем находился великой его ловчий с борзыми собаками и великий сокольник с соколами. Сперва подняли множество зайцев и гнали их на императора, который убил несколько их из лука, а когда не попадал, то давал знак князьям, ибо запрещено стрелять и выходить из ряда без его на то позволения. Приблизились мы к одному густому и покрытому тростником месту, где побили множество фазанов и куропаток. Император отдал лук и взял сокола, который гонялся за добычею и приносил ее к нему. Потом вступили мы в большой лес, где нашли множество зверей. Молодые люди рассыпались по лесу, но никто не смел стрелять, пока император не убил оленя, что и učinил он весьма скоро и искусно. Оттуда поехали мы на одну четвероугольную гору, сделанную на просторном поле, на вершине коей разбито было 10 шатров для императорской фамилии. В некотором расстоянии были палатки для знатных и придворных господ. Тут император прислал сказать послу, что он хочет показать ему сражение тигров, коих нарочно берегли в железных клетках.

Шатер Его Величества был окружен многими рядами солдат с копьями. Около лагеря также оных расставили из осторожности, по причине ярости этих зверей. Первый выпущен человеком, сидящим на лошади, при помощи привязанной к ней веревки. Тигр тотчас вышел, а человек ускакал во весь опор, пока он катался по траве. Наконец тигр встал, начал реветь и ходить туда и сюда. Император выстрелил по нем два раза пулею, но за отдаленностью не убил. И при-

слал сказать послу, чтоб он стрелял. Посол, приблизясь к зверю с 10 человеками, вооруженными рогатинами, выстрелил и положил его на месте. Тогда выпустили остальных двух тигров таким же образом, как и первого. Но как они пришли в ярость и бросились бежать к императорскому шатру, то их убили караульные.

После покрыт был великолепный стол, по окончании которого один чиновник принес к послу, именем императора, кожу убитого им тигра, как принадлежавшего ему по законам охоты.

Дела, за коими мы приехали, были кончены. Посол начал готовиться к возвратному пути. Император послал к послу подарки, назначенные Петру Великому. Они состояли в двух штуках обоев шелковых, весьма богатых, во множестве золотых с финифтью чашек, в фарфоровой посуде, в которую вделаны были жемчужные раковины, в разных штофах, вышитых травами, в других, на коих представлены были драконы о пяти когтях и проч. По росписи взаимных подарков можно видеть, что оба сии государя предпочитали любопытные вещи дорожим.

Несколько дней спустя приехал церемониймейстер взять посла на отпускную аудиенцию. Император принял его в своем покое, уверял в дружбе своей к царю и о почтении к нему, послу. Я был тогда с ним и имел удовольствие рассмотреть, что величавый образ сего славного императора, коего имя заслужило удивление на Востоке и уважение в Европе, наполнен был приятностью.

Посол препроводил еще несколько дней в Пекине после отпускной аудиенции. Он был в иностранном приказе, где вручена ему ответная грамота к его монарху. Оно почтители тогда за наивеличайший знак уважения со стороны такового государя, который никогда не пишет ни к какому владетелю инаково, как повеление к своему подданому. Для разумения сего должно знать, что когда азиатский или европейский государи посылают в Китай послов, то владения их в тот час вписывают в реестр пла-

тящих дань империи и думают еще, что тем много чести им делается. Россияне не мало труда имели вывести их из сего заблуждения и заставить переменить для себя сии обряды.

Подлинная ответная грамота к Российскому государю была на китайском языке с приложением татарского перевода. Свернутая долгою трубою, обвернутая желтою шелковою материей привязана к руке тому, который должен был нести ее во время шествия посольского. Все попадающиеся навстречу и едущие верхом слезали с лошадей и стояли для оказания к ней большого почтения.

Сим кончится повествование господина Бремера. История сего посольства дает понятие, каким образом принимаются в Китае министры, присылаемые от европейских дворов. Хотя случается, что не столь ласково их иногда принимают, но сие всегда происходит от наблюдения здешнего церемониала. Ибо император за обиду почитает, ежели послы в день аудиенции проронят что ни есть в обряде".

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Отточия сделаны автором рукописи.
 2. Имеется в виду Великая китайская стена.
 3. Описанная танцем история происходила в XII веке д. н. э. Последний представитель династии Шань (Инь) Джоу-Синь низлагается основателем Чжоуской династии Ву-Ваном.
 4. Так значит в тексте. Это, очевидно, ошибка автора или переводчика, давшего неправильную транскрипцию слову "чжоу".
 5. Мандарин — европейское обозначение китайского чиновника.
 6. Иезуиты — члены католического монашеского ордена, основанного в Париже в 1534 г.
- ГАКО. Ф. 655, оп. 2, д. 198. л. 1-6 об.





О СОБАКЕ, ВОРОБЬЕ И НЕВЕРНОЙ ЖЕНЕ

Собрались как-то мужики из ближних деревень на ярмарку. Поторговали, купили кому что надо было. На ночь глядя в путь отправляться боязно, вот и заночевали они на постоялом дворе. А чтобы время скоротать, решили друг другу про чудеса всякие рассказывать.

Начал Силантий Петрович:

— В нашей деревне случай был. Поехал мужик в лес по дрова. Дров нарубил, сел отдохнуть, а рукавицы на пенек положил. Пока курил, пока отдыхал, за рукавицами потянулся — а их нет нигде. Так и не нашел.

Слушатели головами качают, бородами трясут — диво! Один только сидит спокойно, усмехается.

— Это что... В селе Семенове, у Ивана Ивановича — вот там диво.

— Да где ж он?

— Лошадям корм задает. Придет, вы его и попытайте.

Вскоре входит в избу крестьянин, с виду самый что ни на есть обыкновенный. Все к нему приступили, мол, расскажи, что с тобой приключилось? Он не стал отнекиваться.

— Родился я в селе Семенове, а как в возраст взошел, отправился в город, стал у купца в прикащиках служить. Год служу, два — денег подзаработал и решил, что пора домой возвращаться. А купец не пускает, больно работа ему моя нравится. Ты, говорит, могошь и в городе жениться. По-

слушал я его, остался. Высватал девицу и женился вскоре. Красивая девушка, да как потом оказалось, сердце у нее черное было — ведьму взял.

Долго ли, коротко ли, поехали мы все же в деревню. Хозяйство наладили, детей завели. С деньгами трудновато, конечно, было. Задумал я к купцу вернуться — тот опять взял. Работаю, а сам по детишкам своим скучаю. Только мужики наши деревенские плохие новости стали привозить, что жена моя все прожила.

Я к хозяину — отпусти домой. А тот жалеет меня, не советует ходить, жалованье обещает прибавить. Но я не послушался его, отправился на родину. Однакож, сначала к дядьке своему родному завернул узнать, правду ли люди говорят? Да, отвечает, твоя жена вовсе все прожила.

Взял я у дядьки пару коней и кибитку и ямщиком подкатил к дому под вечер. Стучу — хозяйка, пушай ночевать. Вхожу во свои хоромы. Жена-то меня не узнала. Сели ужинать, а к ней друг заявился...

Поутру собрался я и поехал, кибитку дядьке вернул. Да и назад, пешком. Взосел в избу прямо. Ой, как она обрадовалась, захлопотала, блинов напекла. А детки-то, вижу, не больно сытые. Посадили их коло себя, им подкладываю.

— Ой, жена, жена, непорядки у тебя!

Да и рассказываю, что накануне-

не-то было. Как осерчала она, сковородником меня хлоп, и сделался я собакой — "желтьшком".

Побежал я куда глаза глядят. Бегал, бегал — есть захотел. Вижу, собаки кость делят, понюхал — не рука! Побежал дальше. Гляжу, женщина каравашек студит, схватил его и поел. Побежал дальше. Долго ли бегал, не помню, только остался я у пастухов, что скотину на лугах стерегут.

Прижился у них, помогаю. А те довольнехоньки. Слышу, промеж себя говорят: "Ну, паря, и собака! Все умеет — вино пить, коров заганивать и друг душевный" — "Пошлем его за водкой!"

Письмо написали, я в кабаке его отдал. Целовальник¹ полбутылки налил, я в зубы ее схватил и к пастухам бежать собрался. А два мужика доглядели это дело, подстергли, да поленом меня — я и бутылку выпустил. Кое-как сцапал опять да и ходу...

Пастухи сами сели выпивать и мне наливают. Захмелели они вскоре. Вдруг волк в стадо вскочил, всю скотину распугал. Я на помощь бросился, ногу у него укусил, стадо в кучу собрал и в город погнал.

Только недолго мне пастушьей собакой пришлось быть. Зачуял барин про такое диво, торговать стал меня. Не хотели пастухи пса продавать, да за 500 целковых отдали.

А барин знатный был, богатый. Как деньги отдал, сейчас в

кибитку и прямо к амбару привез. Посадили меня на цепь, и стал я сторожевой собакой. Житье, конечно, не худое — и штей и хлеба сколь хощь. А у барина добра всякого много, только вот беда — воруют добро, а воров все поймать не могут, хоть и сторожат те амбары каждую ночь. А мне вот удалось! А дело вот как было.

Подошло время за полночь, сторожа все на посту — перекрикиваются. Вижу вдруг, идут люди чужие с фонариком. Обошли с им весь город, и все замертво спят... Один я бодрюсь, видно, на собак тот фонарик не действует, наблюдаю, как шестеро молодцев замки ломают, а семьей у фонарика стоит. Выскочил я, опрокинул караульщика, фонарик у него расшиб. Тут же все пробудились и воров схватили.

Хозяин мной дорожил, конечно, угощения еще больше давать стали. Все бы хорошо, только что жизнь собачья.

Да не век мне и сторожевым псом пришлось быть...

У царя-государя беда приключилась: царевна его сколь детей ни приносит, все не могут их сподить, скормить — все куда-то деваются, то головешки, то веник вместо ребенка очутится.

Докатилась до царя молва о собаке, что умней иного человека. Сам к барину моему приехал: "Что тебе за нее?" А как царю отказать? Что, мол, положите! Как денежки они разделили, так я к царю и стал ластиться, вскочил в повозку и во дворец поехал. А там отвели меня в верхний этаж, ухаживать стали — царь сам пьет чай и собачку угощает, и рюмочку подают.

Тут время пришло царевне родить. Заперли с ей собаку, и баушка-повитуха там. За окошками стемнело, утихомирились все, разоспались. В полночь царевна сына принесла. Вдруг откуда ни возьмись, сова, и прямо на мальчика. Я изловчился — ее цап. Но гостья эта незваная вырвалась, только хвост у меня в зубах оста-

вила. Я ребенка облапил и держу: баушке не даю и матке не даю. Поутру слуги сбежались, царю доложили, ну и мне, ясно, золотую медаль повесили.

Ухаживают за мной, как за другом царевым, кормят, поят на серебре. А мне мысль покоя не дает: "Хорошо житье, а как помру, и не отпоют. Пора бежать". Но как? Убежишь от слуг, так с их взыщут. Лучше от самого царя убежать.

Раз царь отдыхал в нижнем покое. День был жаркий, и окно оставили открытым. Из этого окна я и убежал. Тут же собак пустили следом, да я раскидал их, а после уж никто не мог настичь.

Побежал я домой, к жене лашусь. Только нерадостно она меня встретила. Глянула: "Ага! Видно, набегался кобелем? И медаль еще!! Ну, набегался кобелем, так полетай воробьем". И веником хлестнула. Закружилась у меня голова, чую, что лечу куда-то. А жена — ну меня хлестать. Я в трубу вылетел — золотым воробьем сделался. Посидел на коню², полетел к воробьям.

Много их на гумно³ уселось, где мужик ворох вьет. И я зарылся в мякину. Тут баба с лубенником⁴ подошла, накрыла меня да в

лубенник. Пришли они домой. Мужик смеется, говорит: "Топи, баба, печь, станем птицу жарить". Она печку затопила, а хозяин нож точит.

Испугался я, крылышками машу, чирикаю, что есть мочи. Ну, думаю, смерть пришла. Мужик глянул на меня, нож отложил.

— Ладно уж, живой оставайся. Это тебе за то, что, помнишь, у меня ногу укусил, как я волком прибежал, а у моей сестры все перья из хвоста ошпипал, как к царю она своей прилетала.

Да как хлопнет руками, и стал я молодцем. Сижу на лавке, дух от радости захватило. Рассказал я ему все, что пережить довелось.

— Пойдем к твоей жене.

— Боюсь.

— Ничего не будет.

Идем, а мне все боязно, как бы вновь образа человеческого не лишиться. Заходим в избу. Она сидит, и друг у ей. Увидала меня, вскинулась. А попучик мой спрашивает: "Что с ей сделать?" Я молчу, растерялся. А он плеточкой хлестнул, и не стало ни жены, ни друга ее, а стали мерин да кобыла. Так в хозяйстве моем и жили. Ездил на них, кормил раз в сутки горячими угольями и доездил до смерти.

Так закончил Иван Иванович свою историю удивительную, в бороду ухмыльнулся, дескать, хотите — верьте, хотите — чай пейте.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Сказка была записана в Ветлужском уезде Костромской губернии в 1901 году. Но запись эта содержит только ключевые слова и предложения, поэтому она дана в обработке. Однако орфография подлинника сохранена.

1. Целовальник — лавочник при казенной и откупной продаже вина в кабаке.

2. Конь — верхний брус на кровле под коньком (гребнем кровли, стыком двух скатов).

3. Гумно — крытый ток, место, где стают хлеб и где его молотят.

4. Лубенник — лукошко.





Александр Павлович Алешин родился в 1895 году в д. Святые Костромской губернии в крестьянской семье. Окончил учительскую семинарию и школу прапорщиков, в первую мировую воевал, был тяжело ранен. После Октября работал в газете "Красный мир", вел в Костроме литературный кружок, в 20-е годы рассказы и повести Александра Алешина печатались в центральных газетах и журналах. С 1929 года руководил Ивановской писательской организацией, куда входила и Кострома, был делегатом 1 съезда писателей СССР. В 1936 году был необоснованно репрессирован, но через пять лет после ареста по состоянию здоровья освобожден. В 1943 году ушел добровольцем на фронт, рыл окопы под Ногинском, где умер и похоронен в братской могиле. Вниманию читателей предлагается рассказ Александра Алешина, "Гусар", опубликованный в костромском журнале "Ледокол" в январе 1925 года.

С пяти до пятнадцати — стало быть, десять лет — терпел я великую муку от прозвища Гусаренок. Мукой этой, а также и радостью сегодняшнего дня обязан я деду Захару, рядовому гусару времен Николая Палочника. Жизнь — это ослепляющее, беспрестанное новорожение — каждым днем заслоняла от меня деда, бытие его немудрое и неминуемую смерть.

Но любопытно другое.

Когда я надел пятачковую форму городского училища, мне представлялось, что дед вытянется перед таким внуком по старому военному артикулу и крикнет: — Во фронт! Ружья на кра-улл! — Затем, последовательно — прокатить мимо деда на велосипеде, во весь дух прогнаться со сцепленными за спиной руками, и так глянуть мимоездом, чтобы дед охнул: — Ну и ну! Дошли! Катит, сукин кот, на двух колесах не держась — катит и не брякнется! — Показать деду му-

тоцикл, автомобиль, самолет, радио — и хохотать, когда дед омертвел бы со страха: — Свят-свят-т... Уйди! Пропади! Сгинь ты, нечистая сила!..

Все это родилось во мне от жалости к деду: он, сердечный, ехал верхом от Варшавы к Севастополю — ехал боевым, походным порядком; протер пять пар казенных брюк, сто раз перевязывал оббитые седлом ляжки, приехал — и мир. И обратно, тем же порядком.

— Ы-ыхх, — скоркал он зубами. — Не привелось под-рраться.

Однако за поход дали деду-гусару серебряную медаль на пестренькой ленте: "Герою Севастополя". Дед невзлюбил фальшивую эту награду и отдал в безвозвратное пользование бабушке, а та, по-старушечьи, приспособила ее на закладку псалтыря.

Раз в году приходили к деду парни и просили в прокат бережный мундир для святочного пред-

ставления "царя Максимилиана". Представляльчиков встречал дед неизменно: — Полштоф — а то как хотите. Поищи ступай, посуйся. Найдите такую вещь в округе, скажем... на сто верст? Найдите, я вас спрашиваю, черти?! — И лез с кулаками, выкатив глаза. Самый бойкий вытаскивал "дуровское": — На, дядя Захар, на! — и пятился. Дед принимал вино и мяк: — А нет, не найдете.

Иногда парни заикались про медаль. Дед хмурился: — Не при мне. Толкуйте с баушкой. Дай им, баушк?

— Не дам! — отмахивалась та наотрез. — И не подумаю! И нечего просить, греха-та?

Парни принимали мундир и помнили, что улыбаться в эту минуту нельзя: выскочишь без вина, без мундира и без зубов. В сенцах они облегченно хохотали и с расчетом произносили: — Гусар, гррач.

Чего похожего в деде на без-

обидную, осторожную птицу? Разве только белый нос и неседущие волосы с голубоватым отливом? А так дед-гусар походил верней на ястреба. Прямой, сухоощавый, он любил драться и дрался с ястребиной хваткой: налетал стремительно, бил коротко, но сильно. Дрался на сходах, на улице, дома — по любому пустяку. Бил чужих, — от малыша до ровесника, — бил отца моего, мать, нас, четырех внуков — оптом и в розницу и чем попало: кулаком, псалтырью, железной картофельной рылкой...

Помню сентябрь. Тихий, солнечный, паутинный день — конец картофельного рытья. Деревня урывала погоду, спешила сыпать картофель в погреба сухим. В воскресенье у нас работала "помочь". Нужен был проворный, точный расчет труда, как всякого труда, исполняемого коллективом. Была нужна лошадь, чтобы непрерывно опораживать набитые мешки — возить и возить... А отец уехал в город "торгануть" арбузами — по улицам, и просрочил дедов наказ: — К обедам быть.

Мешки забили, пришлось сыпать прямо на полосу, к великой радости уже беспастушьего стада. За обедом дед дико матерился, не стесняясь рыльщиц-девок, и под вечер саднул отца по руке рылкой. Отец зажал рот алым фонтан. Молодой, широкоплечий, пьяный — трижды сильный, он трех слов не сказал в оправдание. Окровяненным ртом, скорбными глазами ревел он неумело, дико, по-бычи: — умьыгы...

А дед, не своя с него ястребиных, безжалостных глаз, цедил через сомкнутый рот: — пьянчуга... осукин сын. — Мотнул головой и рывкнул: — Поежкой!

Отец сжался и так неумытый, с незавязанной рукой выбежал и впрыгнул на грядку телеги. Я не вынес. Я сорвался и кликал слезно, злобно, до боли во всех внутренностях, до красных вращающихся кругов: — Гусар! Драчун! Грач! Злец! — и две недели боялся попасть на глаза деду. Он припомнил мне месяца через три, когда ветхую избу раздирали морозом. За пустяшную провинность выгнал меня в сенцы и дверь заложил на крюк. Минут десять плясал я, отдирая босые ступни от заиндевелых половиц, пока не вернулась с проруби мать.

Когда мать ходила Колькой, дед

припер ее в кутный угол и пинал в живот. Мать кланялась и выдыхала прерывисто, ужасно:

Батть...штг, што-о...оты? Госс...поди, вы...ыкину!

Мы, три внука, ревели в один истошный голос, а дед пинал да приговаривал:

— Знай...ззняй...час. Не порр... не порть хлеба...

После этого мать два месяца не улыбалась, часто молилась, украдкой плакала на шесток и каждую неделю ходила правиться к повитухе Лампии Крайней. Колька родился в срок, родился здоровым крикуном — себе на маету. Дед качает-качает зыбку, да так тряхнет, что Колька взлетит на поларшина и замолкнет — от удивления. А дед наддаст и скажет:

— Дррыхни-и! Чортово горло-о!

Вся деревня знала наши порядки, и все не любили гусара:

— Нехороший старик, скандалист — нелегкая его возьми.

— Солдат! Гусар!..

— Отобьет печенки, вот и будет — гусар. На хорошего, говори, не наткался.

А он хоть бы те что: командовал на сходах, разливал общественное вино, когда пропивали пожни или чью-либо сиротскую, беззащитную "душу".

Свою душу дед открывал лишь одному человеку — ровеснику Степану Кононычу. Нас, внуков, дед народом не считал и, не скрываясь, изливался перед другом: — Меня испортили салдаты. Посуди, чудак: семнадцать годов!..Надо оттяпать. А побоев-то, а зла-то — Оий!

Только один человек в семье жил без побоев — бабушка. Была она взята из-за Волги, с чужой стороны, и за сорок пять лет замужества не могла забыть тягучего, тамошнего выговора. За это вся деревня звала ее "неклевошной", но все любили за чистосердечную готовность помочь в напасти.

Она любила париться в печи, и я не помню, чтобы когда-либо она не была перепачкана сажей. Дед-гусар был во-военному чистоплотен и не терпел бабушкиной мазни:

— Умой харю. Што?.. Хо-о-дит, как... снафида. Экая несообразная какая, право.

— Ой? — спохватывалась бабушка и шаркала по лицу ладонью: — Ай опять замаралась? Поди от уся..

— От дури.. Што щупаешь? Ду-

маешь — грязь рукой ощупаешь? Иди к зеркалу.

— Пошла! Всего пуще! — грехато?

Дед закипал и переходил ни длительное пиленье:

— Эка сторонка-а? Экие черти живут на свете, господи-батюшка! В печь париться лезут, а хлебы пекчи — в баню. Н-народ, хуже поляков...

В солдаты дед, конечно, ушел женатым и за семнадцать лет имел одну месячную побывку. Были слухи, что бабушка без него "принесла", но доказательств не было. Однако до предсмертной старости питал дед надежду дознаться и с каждым годом реже, бесцветнее грозил бабушке:

— Доберусь. Погоди...

— Полно, дурак! — кипятилась та. — Полно, лешман эдакай! Скоро богу ответ понесешь, а мелель таку околесицу. Тыфу!

Я рад, что дед-гусар не добрался до бабушки. Она, спасибо, выучила меня читать. Теорию чтения постиг я по древнеславянской азбуке: аз — ангел, буки — бог, божество... Твердонто, покоенно, рщеры... Когда эту словоломню вторил я с голоса за бабушкой, в голову лезла веселая несообразность вроде: "Рщеры — упал с горы, какоонко — пеганко". Практику чтения усвоил я по псалтыри — толстущей, черной, закапанной воском книжище, лежащей под образами. Передний угол прогнил и мок по зимам. Оттого на медных иконах — складнях лежала сплошная, не оттираемая зелень, а псалтырь пахла затхлостью и мокрицами. Мокрицы бойко шныряли по щели псалтырного перегитба, — и все, читающие псалтырь молитвенно — бабушка, отец, мать — вдруг неожиданно шлепали по ней ладонью и сощдывали святотатственную тварь с длинным двойным хвостом. Это было забавно — моленье и избиенье! Мы, мальчишки, всегда прорывались смехом и терпели ожоги ременной лестовки по чему попало.

Для удобства чтения дед-гусар смастерил мне из лучины не особо удобную указку: род лопаточки с выемкой по середине раструба. Острым концом указки водил я от слова к слову, и на желтом листе — на листе двухсотлетней давности, с невероятно грязным углом, тянулся вдавленный след: — Бы-ла-жен... муж иже... не... иде... на... со-вет... не-чес-ти-вых...



Только недавно постиг я истинный смысл фразы, написанной древним царем и большим поэтом Давидом: "Соблюдай свою классовую чистоту, не якшайся с чуждым элементом".

Тысячи лет живет эта истина и будет жить, пока человечество не расколется в щепы классовые перегородки — древние, древние псалтыри и ее писателя.

Ударяло в глаза солнце, одолевала буйная шалость. А урок, казалось, не убывал, скакать же через кафизму — "грех неотмолимый". И поступал я очень просто: со свистом гасил маслице, шумно схлопывал псалтырь и принимался ломиться с меньшими.

Бабушка, по обыкновению, сидела на лежанке и искала блох. Заслышав хлопок, она опускала рубашку и рубаха ложилась на кости, на пергаментное вялое тело. Бабушка брала треххвостку, а я летел в подполье.

Бабушка зажигала лучину, подходила к подпольной двери и проносила: — Господи, сусе христе... Я те, деманик окаянный! Я те, нагрешник! Я те сбубетеню!

Я сидел под лестницей в остром напряжении мыши, в хитрой, захлебистой радости и зажимал ладонью хохот. И пока бабушка корячилась по лестнице, я незримо шуренком шмыгал между приступков, взлетал на печь и пускал хохот на волю. А она долго тыкалась по подполью, палила паутину и грозила: — Сыш-шу... еретик... сбубетеню... Вылезала она в копоты и поту, стукала об шесток лучиной, бессильно опускалась на лавку и выдыхала: — О-ой... подлец эдакий, измаял. — Потом спокойно: — Санко? Де ты, а? Поди, дураж, дочитай псалтырь до медали.

Умерла она раньше гусара — умерла тихо, незаметно, как и жила.

* * *

Смерть бабушки повлияла на деда. Он стал тихнуть, опускаться. Пред ним воочию встал испуг конца: попугачик ушел, черед за другим. Он забыл любовь к чистым ситцевым рубашкам — перешел на крашенную домоткань; он влез в дубленую шубу — обшарпанную, в мусоли избы и базарных чайн, когда-то подвечную шубу — и носил ее почти круглый год. Все дни ходил он в очках, читал Библию, читал, беззвучно шевеля губами, далеко откинув голову — будто

боялся читаемого. Он перестал драться, и мать моя разом простила ему былые обиды — простила за крупницы сердечной жальливости, которая так дорога бабе и которую дед чаще и чаще ей дарил: — Анна, матушка... да наплюнь ты — с полом. Рази напасешься чистоты при такой псарне? — И сразу гикал на нас: — вы!.. Опять настрогали? Одрры... Я вот вамм...

Последний наскок дед совершил на нас по уважительной причине. В разгаре баловства я подшиб Библию. Книга распласталась на полу, кверху переплетом, невадно. Мы четверья червями извивались под кроватью, стараясь угадать к стене, а падог дедовский предоставить чужому боку. Я, старший, громоздкий, не мог занять позиции. Меньшие налимими проскальзывали под меня, через меня — и падог ткнул в меня, ткнул только дважды и не больно. А когда до слуха дошли сопроводительные слова: — Подлецы... Мошенники экие... — меня позвало к чистому раскаянию — так грустны, так беспомощны были слова.

Иногда он встряхивался, хвалился службой. Это бывало, когда приходил Степан Кононыч, изобретатель кочкорезки, картофелерезки, выгодных по крестьянству, но не применяемых крестьянами из-за ненадежности изобретателя. К Степану Кононычу часто навевались из города "сумнительные люди" и застревали под видом ночлежников, хотя деревня для этого держала откупную избу Анисьи Кривой. Подозрительны были ночлежники, что и толковать: чисто одетые, умные с виду, без котомок — не обзовешь бродягой. Степана Кононыча невзлюбили богачи, братья Задневы, и раз подпоили скандалиста, бобыля Сережку Вздырю, чтобы он при случае дал чередом этому подвоху, анжинуеру, сомутьяну Стеньке Кононову!

Но оскандалились братьяны — конфузно, убыточно, пакостно до того, что полдеревни мужиков потеряли к ним почтение.

Было так: вечер был 14 июля, деревенского пожарного праздника, был "ход". Мужики снесли в слободу иконы, подсчитывали траты на обед попам. Вдруг показался Сережка. Шел он с конца, где изба Степана Кононыча, шатался, плановал руками и сам с собой разговаривал. Оглядел мужиков поочередно, близко, дико, и спросил: —

Пету братовой? Поддай мне их, я пага-ва-рю!.. — Хлестнул себя в чалую грудь и взвыл: — На кого я продался, а? На какого человека? На ения! Я шел намеренный, зверем... а он сказал мне три слова, ты-ри сы-лова! И — шабаш. Шабаш!.. А ну скажи, што я — кулиган? Испробуй! — Оскалился, изогнулся знаком вопроса. Мужики придавленно молчали: никто не понимал, но видели, что выпад этот сложнее обычного пьяного лома-нья.

— А какие те са-ла-ва, я покажу сичас на деле. Я им дам сичас с бутылки сдачи. Кто желающие глядеть, айда!..

И мужики пошли. Сережка набирал по пути камни, увесистые палки, жегся об крапиву, ломал попутные частоколы, и владельцы частоколов особо не протестовали: скандал...

В каменном, двухэтажном домище Задневых Сережка бил стекла — бил с могильным молчанием, точно подрядился. В три минуты он выпцелкал до стекла, подчисто. Братья выскочили, сшибли Сережку и стали взбачивать, деловито встряхивая волосами, вспотев, крикая, скоркая, приговаривая: — На! нна! нна тебе... твв...

За братьев взялись зрители — Сережкина ровня и даже пообстоятельнее:

— Не бей втроем! Эий?..

— Дать им, скрягам...

— На вот ти, чорт скупой!

Бабы сунулись стараться за мужей:

— Не трожь мово, пьяница беспортошный, бесхлебна ужна!

— А тебе што, нехоросьвишша, хайла полоротая? — заступилась за пьяницу жена.

— Молчи, бесподставная, полудурок! — дернулась богачка.

— По-лу-ду-рок?!

Моментом сорвали платки и ищарапались в кровь. Мальчишки Средней улицы крикнули: "Лути конецких!" — и прилялись тузить свою ровню-подсилку. Вся деревня дралась, так и судилась вся, судилась три года — от мирового до палаты — и ничего не высудила обоюдная драка.

Степан Кононыч часто навещал ровесника — деда, и дед хвалился солдатством: — Полторасто палочек получил и не сегою: служба.

Степан Кононыч, прижмурив левый глаз, прищелкивая по коленку, сыпал: — Так, так, так.



— Служба!.. Пятьдесят — за яблоки за аршавские — лазили в панов сад; пятьдесят — через кобылу: сорвалась с недоузка и покусалась. Даа... А остальные — за неотданные чести, согласно рапорту ротмистра, его высокоблагородья, графа... как его?.. Позабыл!..

— Так, так, так...

Потом Степан Кононыч молодецки распрямился, произносил окончательное: Так-к! — и разжимал глаз. И продолжал строго, и ехидно: — А я бы умолчал. Я бы не токма что хвалиться, а прятал бы такие дела со свету подальше, подальше... Нехорошо. Чего хорошего в битье, скажи на милость?

— Служба, грю! Устав гласит, — хорохорился дед, а Степан Кононыч снова прижмурился и стрекотал пальцами.

— Устав?.. А уставщику вокурат наплевать, что спина у ти не давала доткнуться. Поди дойди до воинского, попроси — он ти добавит до двух сот, слова не скажет.

Дед-гусар взрывался: — Молчи, Стенька! Уйди! Драться зачну!.. Я служил верой-правдой, а ты один сын...

Дед чуть не плакал. Все семнадцать годов — лучшие года, уехавшие в тьму на казенной гусарской кобыле, кипятком клокотали в старой его груди. А Степан Кононыч — другой, ласково-строгий, впиался в деда глазами и, как напарью в сухую доску, ввинчивал слова в его уши: — Та и шутка, Захарушко, что не знаем мы, в чем вера и правда. Устав — штука не больно святая: обнаковенная бумажная. Верно ли? И надо думать — переписишес на другой. — Тут он наклонился к дедову уху и шептал жарко, с оглядкой: — Правильных уставов надо глядеть с тые стороны, с салдатской..

Эти слова я пишу с благоговением, как оправдавшееся в недавних годах. А как могло иначе? Мог ли ошибиться Степан Кононыч, верящий в правду большого числа, самоучка-изобретатель, вскакивающий по ночам, чтобы зачертить карандашным огрызком деталь необходимой для лучшего будущего кочкорезки? Эх... Поднять бы Степана Кононыча, показать бы ему уставы, пришедшие "с тые стороны", показать бы электролебедку, полосующую древние кочки, и все

и вся — корчующее, сеемое, растущее... Эхх!

А дед-гусар... Он тосковал тогда свое. Ему нужна была лишь своя правда — сумма житейских страданий, итог на право очищения духа, готового угаснуть в недалёких порох.

* * *

На другой год открылась война.

В деревню хлынули копеечные литографии, изображающие богатырей-русских и уродцев-японцев, сражающихся под Ляояном, Мукденом, Цинзяо...

Война не всколыхнула деда-гусара. Он только и есть коротко сказал про японцев:

— Хуже поляков.

Были на то и другие причины: отец, сельский староста, начал выпивать. Бедняк, он вскружился от небывалых денег, пропивал рубль за рублем и сразу сто рублей отдал под ножом в щемилровке подгородного трактиришки, притона последнего разряда. Семья охнула: подходил учет. Пришла семейная тоска: спасай близкого от острога, спасая его честь — спасай свою... В эти дни отец свел на базар корову, а мать свезла в ломбард праздничный самовар-ведерник, девичьи свои полотна, навины, платья, лишнюю шубу — все, что заводилось и сберегалось полжизни. После мать изо всех сил тянулась, чтобы вовремя заплатить ломбарду проценты — года три тянула, но сорвалось: вещи пропали.

В те дни нужно было продать до одной картошины, чтобы сошлись цифры на правом и левом листах общественной книги. В декабрьский день гусар сам вскрывл семяной картофельный погреб, сам насыпал картофель в мешки, ползая на коленях, и застудил ногу.

Цифры сошлись. А нога у деда стала пухнуть, пухнуть... посинела, застеклилась — и дед-гусар свалился. В эти дни он ни единого упрека не проронил отцу и только сказал:

— Ну, Павел, таперь как хошь. Пока лошадь своя — свежи меня в больницу.

Месяцев пять или больше лежал он. Ногу дважды резали, но вялое сердце не могло притолкать к больному месту нужного количества крови, и нога снова распухла. Надоело докторам, надоело деду, и приехал он умирать домой.

Помню: в майский полдень дед сидел на лужке у дома и грел ногу. Штанина была круто засучена, и нога лежала на зелени как бревенный обрубок. Дед осторожно гладил ее и приговаривал: Што дохтура? Рази оне могут? Надо знать, когда спущать. Матерью надо спущать вовремя.

Мы, пять парнишек, с замиранием смотрели на ногу, и мне было обидно, что четверо чужих еще боялись деда по старой памяти. Над головами вились задневские пчелы, вызленные невзначай уроненным ульем, но любопытство было сильнее пчелиных жал.

— Иванко, — сказал дед соседскому парнишку. — У тебя, каатца, есть ножишко?

Иванко инстинктивно хватился за карман и уже не мог солгать, когда дед приказал властно:

— Дай сюды.

Ножишко оказался железным, сточенным, в грязных приплесках на лезвие.

Дед попробовал острие на палец и сказал не для нас: — Попробую разрежу... Што будет... На один конец...

Цепко зажал черенок и стал склоняться к ноге. Черные брови сползались, встретились... Мы следили за ножом обнявшись, не дыша, и из пяти наших сердец вышло одно — так тихо они бились. Брови деда полезли одна на другую, а лезвие коснулось синевы...

— Убий, — вырвалось у владельца ножа. — Не надо! Дедушко Захар! Отдай!!

Иванко крикнул со слезами, на всю мочь, а дед сказал шопотом: — Нет... Не насмелюсь. Дохтура не смогли, а мне — дее... И швырнул ножишко в крапиву.

Через неделю дед-гусар умирал. В минуту просветления от гангренового бреда он произнес последние сознательные слова: — Помираю... через картошку... и салдасьво. Каким обидишь, таким.. отплатит-ся. Павлуху тогда... рылкой... зря. Анну... не надо бы...

И медленно закрыл глаза.





Сергей ЕСЕЖУК

* * *

*Я слова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.*

*Седьми пасмурного дня
Плынут всклокоченные тучи,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.*

*Над куполом церковных глав
Тень от зари упала туже.
О други пириц и забав,
Уж я вас больше не увижу!*

*В забвенья капуги года,
Вослед и вы ушли куда-то.
И лишь по-прежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.*

*И часто я в вечерней мгле,
Под звои надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.*

/1916/

* * *

*К теплому свету, на ottimo поро,
Плет мои твои задумчивый вздох.*

*Идут на крыльце там бабка и дед
Резво вьютка подсолнечных лет.*

*Сстроен и бел, как березка, их вьук,
С медом волосев и бархатом рук.*

*Полк, о дру, по глазам голубым -
И жизнь его в мире прирезилась им.*

*Шлет им листисто радость во мгу
Светлая дева в иконном углу.*

*С тихой улыбкой на тонких губах
Держит их вьук она на руках.*

/1917/





Нелля Туссаковская

Тверская КОРОБКА

ПОВЕСТЬ



Последнее становщииковское лето выдалось опасно грозовым. Мы приехали в грозу, промокнув до нитки. Околицу минули под яркой радугой и сразу заметили колготню возле недостроенной избы. Бабы подвывали: "Ой, батюшки! Ой, страшно! Ой, да чего же это делается-то!" Мужики толклись растерянно и беспорядочно. Кто-то предложил: "В землю бы ее закопать, может, отутювет..." Другой голос отмахнулся безнадежно: "Чего там в землю? Закопают... Не видишь — почернела вся?"

На мокрой траве, раскинув руки, лежала баба с чугунно-черным, страшным лицом. Возле рассыпана лоснисто-розовая молодая картошка. Женщину убила молния.

С этого и началось наше дачное житье.

На фотографии того времени — слишком яркая для обыденности женщина. Блестят глаза, белые зубы в улыбке, даже плавные изгибы локонов отражают свет. Она — ослепительно хороша. Затертое определение здесь вполне к месту.

Бледная худенькая девочка с русой скобкой густых волос и суровым взглядом — наилучший фон для материнского сияния. Толстощекий белянский, как молочный поросенок, малыш очень мил и ничего более.

Приехали в Становщииково четверо: мама, я, Андрейка и первая из его будущих семи нянек. Смешная деревенская девочка, желавшая, чтобы ее звали не Настей, а Нелей.

Днем она накручивала на бумажки свои густые, но совершенно прямые волосы, а вечером удирала на "козулиху" к околице. Но "городские" локоны и краденые мамины духи, увы, не помогали: с ухажерами Неле не везло.

Андрейкой она занималась мало, но неустанно следила за каждым моим шагом. То и дело слышалось: "Тина Динна, а она опять на крышу полезла! Тина Динна, а она к ульям пошла!"

У Нели во рту была каша и правильно произнести "Валентина Владимировна" она не могла.

Удивительно, но годы спустя я встретила ее в роли профсоюзной деятельницы. Каши во рту не убавилось, но это обстоятельство ничуть не мешало ее самоуверенной убежденности в своей правоте.

Подозреваю, что она немало дров наломала в чужих судьбах. Мама видела от нее не помощь, а маяту. Но терпела. Властная, умевшая смирить одним взглядом самый хулиганистый класс, она ничто была лишена бабушкиного дара командовать прислугой.

Не зря же дед называл скоморошкой череду наших нянек: "Семь чудес света".

Что касается ульев, Нелля донесла верно: они очень меня влекли.

Восемь зеленых домиков стояло вдоль полевого конца дворины. Древний дед Тихон — истовый старover — колдовал над ними с дымарем. При нем подходил к ульям я не смела, боялась его сурового ветхозаветного взгляда.

Без него — хлебом не корми... Я следила за работой пчел и несколько их не боялась. Пчелы ползали по мне, взлетали, садились вновь, но ни разу не ужалили. Дядя Вова правильно сказал: "Пчелы кидаются не на человека, а на запах страха".

Однажды утром при мне из крайнего улья вытек черной струйкой рой. Я побежала за ним, увидела, что пчелы сели на березу за баней, и рискнула доложить о том старику. Думала, выругает, а он дал мне кусок медовых сот, и я увидела, что глаза у него вовсе не злые. Усталые только...

Рой дед Тихон сбрызнул водой с веника и сыпал, как орехи, в мешок: мокрые пчелы взлететь не могут.

После этого Нелля напрасно доносила, что "она опять к ульям пошла", дед Тихон меня не гонял, а, наоборот, давал поддержать то дымарь, то рамку. Как уж это сочеталось с его старoverской замкнутостью — не ведаю.

Мне же все труднее жилось на улице. Именно этим летом меня потянуло в шумное, проказливое ребячье стадо.

У одних наших хозяев подрастало семеро сорванцов. Да и городские дачники навезли ораву детворы.

Окончание. Начало — "ГД" № 2/94, 4/94, 5/94, 1/95.

Но ни среди городских, ни среди деревенских мне не находилось места!

Я могла заставить себя слушать. Бог наделил даром красноречия и емкой памятью. На бревнах за околицей я властвовала.

Знакомые сюжеты услышанных или прочитанных книг в моем пересказе обростали новыми подробностями, разрастались, а иной раз служили лишь исходным толчком для собственного моего воображения.

Уже тогда я могла наяву видеть цветные сны, словно мне досталась не одна жизнь, а две.

Но стоило замолчать — легковерная стая разбегалась и уходила в свой, для меня запретный, мир.

Неподъемный воз преждевременных знаний, в который с младенчества запрягла меня семья, обрек меня на детское одиночество.

По счастью, в этой пустоте наконец-то возникла мама.

С Николаем Андреевичем она тем летом разошлась.

Судить сейчас, кто и в чем там был виноват, я не могу.

Дело в том, что у него имелась куча родни и четыре дочери от первого брака.

Весь клан, отнюдь до этого не дружный, объединился в ненависти к матери — "красивой чертовке".

Бесполезно было доказывать, что она и не думала кого-то "уводить", что Николай Андреевич, работавший с ней в одной школе, буквально не давал ей проходить... Маму все время пытались обвинить в хитрой корысти и неверности, разжигая большую ревность больного человека: у Николая Андреевича был туберкулез легких, обострившийся от переживаний.

В дикуую безумную минуту он запер маму в квартире на втором этаже и ушел. Она — сильная и ловкая, вылезла в окно и, забрав сына, вернулась к родителям.

Без выяснений отношений, но бесповоротно.

Поэтому и на даче мы оказались одни. Бабушка прихварывала, и старики решили не покидать городской квартиры.

Николай Андреевич навещал нас чуть не ежедневно. Но к нашему дому нельзя было подойти незаметно. Поэтому, заведя на опушке леса его унылую долговязую фигуру, мама оставляла Андрейку с няней и уходила со мной куда глаза глядят. Иногда они глядели в сторону убогих полей "плодово-ягодного" совхоза в Лежнево.

Диковинное там велось хозяйство. На огромных просторах обычно картофельных в этих местах полей тянулись боровки с ржавыми листьями чахлой клубники. Ягодки на ней мало отличались по величине от лесных. Лучшие, к тому же, выбирали шелковые от сытости сороки и галки. Дальше тянулись куртины столь же жалкой смородины и крыжовника. Зелененькие тощие ягодки последнего я почему-то называла "гномиками". Одно хорошо: за мизерную мзду разрешили набрать чего и сколько угодно. Что уж это было за предприятие и кто с него кормился — ты, Господи, веши...

А коли не в Лежнево, то шли мы в дальний Симаковский лес.

С маминной помощью я взглянула на мир глазами ботаника, а не энтомолога.

В провожавшей нас небогатой ржи, кроме васильков и золотарника, изредка мелькали лиловые изящные стаканчики куколя.

Уцелел ли он сегодня хоть где-нибудь?

А в Симаковском лесу нас поджидал потаенный мир лесных орхидей и голубых персиколистных колокольчиков.

Кадильные свечи "любок", сиреневый "ятрышник", кокетливо испестренные "кукушкины слезки" и — тайна из тайн — маленькая розовая "калипсо".

Сейчас, из дальнего далека, я спрашиваю: "Господи, зачем ты показал мне этот лес?!" Неужели для того, чтобы сегодня, потеряв всех близких, я горевала неутешно еще и над этой потерей, обходя задушенные глухим васильком, лютиком и одуванчиками бывшие лесные урочища?

В те времена нас встречала освежающая тень старых елей. Над несохнувшей зеленой лужей кружились бабочки. Один раз мелькнула даже царственная бледная тень махаона. Обычно над зацветшей водой хороводились веселые крапивницы, элегические траурницы, спесивые адмиралы и белянки-простушки. Из-под елей выглядывали лесной сиреневый журавельник, прозрачный майник и стыдливая заячья капуста.

Ельник постепенно сменяли березы, а за ними ждало цветущее половодье "Гадючей поляны".

Я и сейчас не могу сказать, почему в деревне, испокон века жившей лесом, были так сильны некоторые суеверья?

В том же Становщикове и стар и млад пребывали в убеждении, чтоужи и гадюки могут катиться, свернувшись колесом, а самая страшная из змей — медяница.

Дивную земляничную гарь прозвали "Гадючей поляной" и боялись туда ходить только потому, что там и верно мелькали изредка безногие ящерицы-веретенницы. Иначе — медяницы... Жили они в окрестных могучих муравейниках и никому вреда не чинили.

Мы собирали переспелую землянику наперегонки с молодыми глупыми рябчиками и тетерками. Они не очень от нас убегали: чувствовали, верно, что сборщики ягод мы аховые.

Мама видела не ягоды — цветы.

Один раз показала мне возле кочки крошечное растение с голубым глазком цветка.

— Посмотри: вот норичник. Родоначалник семейства.

Я была разочарована: почему гораздо более красивые незабудки должны состоять в подчинении у этой малой малости?

Еще я огорчилась тем, что папоротник никогда не цветет и с его помощью не найти клада...

Не могу больше вспоминать Симаковский лес! Потому, что вижу задымленные корпуса завода цементных плит, похоронившие под собой его многоцветную красу.



Странно: мама не требовала каких-то подтверждений моей к ней любви. Сама никогда меня не ласкала: погладит по голове, улыбнется светло — праздник. Но только возле нее таял душивший меня исподволь панцирь старческого всезнайства.

Я бегала, дурачилась... Называла желтые ястребинки "алафлюзиками", а кудрявые соцветия картофеля "локончиками". Мне одного не хотелось: возвращаться домой. Потому что там мама сейчас же займется Андрейкой.



уткая змея ревности нащупала путь и в мою душу. Впрочем, я понимала, что сам-то Андрейка, толстенький, деловитый и ласковый, — вовсе ни в чем не виноват.

В нем постепенно росло подчиняющее обаяние. Сухая богомольная хозяйка дома говорила: "Божье дитя!" Про него, а не про свою семерку. Я становилась на четвереньки, и он ездил на мне верхом. Мы вместе лепили из песка куличи, и у него они выходили лучше, чем у меня. А то просто возились на полу, визжа по-щенячьи, пока это не надоедало маме.

— Ну, всю пыль собрали или еще осталась? — спрашивала она с притворной сердитостью и брала Андрейку на руки.

И тут на меня "находило": я начинала кувыркаться, прыгать по постелям и смеяться, как дурочка, до тех пор, пока не получала хорошего шлепка. У моей ревности было очень глупое лицо.

В памятный день четвертого августа с утра собиралась, да никак не могла набрать силы гроза. "Волга тучу не пускает", — говорили деревенские.

Река сердито набегала на песок беляками, по стрежню, словно по хребту, легла темная полоса. Лиловая туча на другом берегу напрасно сверкала зарницами, пугала громом: Волга ее не боялась.

Николай Андреевич появился рано утром — с пархода. Уж не знаю, о чем они толковали с мамой на веранде, но когда вышли во двор, лицо его мало чем отличалось от заречной тучи.

Мама же велела мне очень спокойно:

— Сходи с Николаем Андреевичем в город и возьми у него мои тетради. Переночуешь дома, а днем дедушка проводит тебя до Пантусова.

Сходить в город за семь километров мне ничего не стоило: мы только вещи на дачу привозили, а сами всегда ходили пешком. Но по дороге меня подстерегала опасность. В Пантусове держали много гусей, которые все без разбора меня ненавидели.

В течение моей жизни это единственные мои враги в животном мире...

Мы с Николаем Андреевичем пустились в путь все в той же грозовой неопределенности. Лес притих: ни птиц, ни бабочек. Заячья капуста и мои любимые ястребинки решили на всякий случай не рассыпаться: сомкнули лепестки.

Мы шли молча. Я впереди, потому что и тогда не любила, когда мне наступают на пятки. Николаю Андреевичу, конечно же, было не до меня — думал свою думу.

Возле Староверской горки из непроглядной еловой чащи неожиданно выскользнула старая цыганка. Шла босиком, легко и бесшумно. Некогда красное лицо съели глубокие черные морщины.

— Золотой! Дай погадаю, всю правду скажу, я — сербиянка! — заученно обратилась она к Николаю Андреевичу.

Он только безразлично плечом дернул, стараясь ее обойти. Я, конечно, уставилась на встречную во все глаза и потому заметила, что лицо ее вдруг потемнело: словно тень от облака накрыла его на секунду.

Совсем иным, непритворным, голосом она проговорила:

— Не хочешь, барин, гадать? Я так скажу и денег не возьму. Плохо тебе сейчас, яхонтовый, очень плохо! Но четвертого октября ты успокоишься...

Напророчила — и пошла своей дорогой. Легко и приемисто, только пыльная лоскутная юбка охлестывала задубелые ноги.

Над Староверской горкой застыло диковинное облако, похожее на клочок нечесаной бараньей шерсти.

Мне показалось, что Николай Андреевич хотел ее остановить, но меня что ли постеснялся — передумал.

Без дальнейших приключений мы пришли в город.

Сначала на набережную — в квартиру Николая Андреевича. На дворе навстречу нам кинулась рыжая Игрушка — отощавшая, в лохмах шерсти. Николай Андреевич молча оттолкнул ее ногой.

В окно высунулось паточно-сладкое лицо соседки Сони:

— Вот кормлю собаку-то вашу, а за что? За спасибо?

Николай Андреевич даже не взглянул на нее.

По двум его комнатам словно ураган прошелся: все перевернуто, разбросано. Но ураган давний — пыль на вещах слоями. А на окне засохшие мандариновые и лимонные деревца тянут вверх колючие безлистные ветви.

Тетрадки, однако, нашлись довольно скоро, и я постаралась с ними поскорее убраться восвояси.



аша квартира показалась мне тоже очень пыльной, да еще и душной. И в этой духоте почти не смолкал тихий надсадный кашель бабушки.

Дед не встретил меня любимой прибауткой: "Прибыли в землю мы сильных, не знающих правды, циклопов..." "Он выглядел постаревшим и осунувшимся.

Бабушка сидела в кресле возле туалетного столика и, открыв ящик, перебирала запретные для меня прелести: пожелтевший веночек из флердоранжа, букетик фиалок из синели, блеклые кружева.

— Это ты, Саша? — спросила она ослабшим голосом. Я замерла на пороге, мгновенно поняв непонравимое: зовет она своего погибшего сына, а меня не видит!

Дед вовремя погладил меня по голове:



— Не бойся! У нас бывают и лучшие дни. Тогда она всех узнает. Видишь ли, — предупредил он мой вопрос, — за последнее время слишком много наших старых знакомых... исчезло.

Он сморщился в непривычном поиске понятного мне слова. Не нашел и сказал прямо:

— Их объявили врагами народа. Я уверен: по ошибке и ненадолго. Но у бабушки давно больные нервы, а тут люди, которых знаешь полжизни... Например, Устьянцевы...

— Устьянцевых арестовали? Они — враги народа? А "Карахан" где? — на одном дыхании выпалила я.

— "Карахана", полагаю, ты больше не увидишь, — грустно кивнул дед.

Он принес сковороду полусгоревшей, к тому же горькой свиной печенки.

— Я тут же решил куinarить, но... mea куляпа, получилось горько! Впрочем, еще молоко есть...

Из любви к деду я съела кусок печенки и запила его подкисшим молоком с хлебом. Ничего плохого со мной от этого не произошло.

Бабушка, по-прежнему покашливая, перебирала туалетный "брик'о'брак". Даже не глядя, я знаю, что она вынула хрустальное яичко в золотом ободке: флакон из-под духов "ля вьерж фолль". Дразнящий весенний аромат разлился по всей квартире.

Я взяла с полки первое, что попало под руку. Уселась рядом с дедом на продавленный "турецкий" диван. Дед, как и до нашего отъезда в Становицково, читал в подлиннике "Дон Кихота".

Однако нам обоим книги на ум не шли.

Мне не терпелось рассказать про цыганку и еще доложить, что все мамины цветы на "той" квартире погибли: Николай Андреевич их не поливал. У деда тоже были свои соображения.

Он первым отложил серебристый томик Сервантеса — в том издании было их десять.

— Очень бы я не хотел, — проговорил дед западающим в душу голосом, — чтобы на твой век пришла еще одна революция. Но боюсь, что предначиненного не избежать. Система слишком активно уничтожает вынесенный катаклизмом плодоносный слой. Процесс и шире и глубже, чем во Франции девяносто третьего года... Разве что новая глобальная война его остановит? Вряд ли...

Я понимала: дед рассуждает сам с собой, но слова, как камни, падали на дно памяти, чтобы остаться там навсегда.

— Так что ты хотела мне рассказать? — спросил он, как будто я обращалась к нему до этого.

Я сбивчиво, не так, как обычно, поведала ему о предсказании вешуньи.

Дед критически приподнял брови:

— Четвертого октября? Далековато... можно называть срок безбоязненно. И как отнесся к сказанному "Эн.А."?

— По-моему, хорошо, — ответила я. — Он даже гусака прогнал с дороги, когда мы Пантусовским лугом шли.

— А... Действительно, это признак доброго настроения. Что ж: "Блажен, кто верует. Легко тому

на свете..." Однако, хоть зловредный гусак и бысть повержен ниц сегодня, хворостину завтра мы припасем заранее!

Я призадумалась, но потом сказала:

— Нет, дедушка, я обойду Пантусово лугом. Ты меня не провожай. Ты с бабушкой побудь.

Дед несколько раз молча кивнул головой, и мне показалось, что на его глазах блестят слезы.

— Будь по-твоему! Да, — спохватился он, — на балконе "нищкий" левкой расцвел, можешь полюбоваться!

Рассаду левкоев мама принесла весной из того же зеленхоза. Показала на одно растение с особенными сизыми листьями:

— Это будет "нищкий" левкой. Когда-то я получила такие семена от Иммера и Мейера. Сегодня у нас семеноводства нет, все случайно.

Я вышла на балкон. В ящике расцвело несколько долговязых немахровых левкоев малинового цвета и один невысокий с крупными кремовыми розочками цветов. Он показался мне чудом аристократизма на фоне своих простонародных собратьев. Как напоминание о чем-то прекрасном, ушедшем навсегда. Как пожелтевшие от времени листы каталогов Иммера и Мейера с небывало красивыми и крупными овощами и сплошь махровыми левкоями многих сортов.

Но все же "нищкий" левкой порадовал меня меньше, чем мог бы в другое время: очень уж большим неблагополучием веяло от моего дома.



трон я, конечно же, сэкономила пятнашку на мороженое и пробралась на паром зайцем. Знала: на том берегу Волги возле самого причала стоит мороженица со сладкими тающими колесиками, где на вафлях написаны имена. Всякие встречаются. Только не мое. Но мороженое от этого не кажется менее сладким.

С собой я унесла несколько кусков хлеба с солью для лошадей на пароме — ведь это они, большие, помогали мне, маленькой, проскочить незаметно! Можно всю дорогу гладить благодарные лошадиные морды и слышать на ладонях прикосновения осторожных теплых губ.

Паром — огромную плоскую баржу — таскал через Волгу задьшливый пароходик. Шли медленно, хватало времени и по сторонам посмотреть.

Вот нас обогнал катерок с надутым перекормленным начальничком в белой фуражке. Очень близко, плеща волной, проходит прогулочный красавец-пароход "Историк Покровский". На его палубе загорелье нарядные люди из высшего, недоступного мира. А вот шатается на волне из стороны в сторону большая лодка — завозня, полная пьяных мужиков и баб с детьми: с одного берега на другой догуливать плаваются...

Когда завозня перевернулась — я не заметила, занята лошаадьми. Просто я услышала бабий визг и увидела, что люди бултыхаются возле окатистого смоляного днища лодки в напрасной надежде ухватиться за него руками.



Начальничек на катере прибавил скорости и рванул к ближайшему берегу. Трое мужиков с парома, поскидав сапоги, подбадривая себя матом, ухнули в воду и погребли саженками к тонущим.

А я видела одно: дальше всех от нас барахтается в воде молодая баба с девочкой вроде нашего Андрейки. Она не умеет плавать, ее слепят распустившиеся косы, но неведомо как, вздымая буруны пены, она бьется и поднимает над водой ребенка... Нашим мужикам до нее не домахать.

И тут с капитанского мостика парохода по невысказанно высокой дуге полетел в воду высокий человек в белом кителе. нырнул глубоко, без всплеска, и вынырнул точно возле тонущих. Успел в последнюю секунду. Женщину он выгнул за волосы из смертной волны. С застопорившего парохода очень быстро спустили шлюпку и подобрали всех троих. Длинное суровое лицо этого человека я запомнила.

А мужики в воде разобрались сами. Наши спасатели поволокли еще трех баб, свои тоже протрезвели, надо полагать, и кого-то подхватили. Десятки рук потянулись с парома им навстречу. Обошлось.

Когда паром причалил к берегу, о случившемся почти и не говорили. В те времена неукротенная Волга забирала жизни сотнями, особенно по осени и весне. Но и летом тонущих мало убывало.

Я купила себе мороженое по имени "Вера" и отправилась своей дорогой, поглядывая, не выбросила ли Волга чего интересного?

Прошлой весной, когда я с дедом ловила головастики возле Березовой рощи, а потом бродила по мокрому тугому песку, я нашла серебряную серезку с блекло-голубым глазком бирюзы.

В этот раз ничего стоящего не нашлось.

Я шла по испестренному, как мелом, несобранными шампиньонами Пантусовскому лугу и опасливо оглядывалась: вдруг гуси придут? Но гусям было не до меня: они скатились в устье речки Ключевки, где во множестве жили ракушки-перловицы.

Немаятные километры пути сами ложились под ноги.

Вот затканная цветами железнодорожная насыпь. Почему-то именно в ней ромашки, колокольчики и гвоздики достигали садовой величины и красоты.

Я шла и громко распевала:

— Лоулита! Лоулита! Дензж!

Слова эти ровно ничего не значили, но в них жили звуки, а они-то последнее время очень меня интересовали. Не ведая того, я искала входа в мир поэзии.

Я нарочно сталкивала неожиданные, несозвучные сочетания, проверяла, что может и что отказывается жить рядом. Глазастые ромашки прыскали от смеха, пушистый желтый подмаренник тихо тряса, роняя пыльгу, а мамыны любимицы — перыстые гвоздики стыдливо отворачивались. Какую дичь приходится слышать в мире, где звучат только пчелы и жуки!

Неволью я их послушалась и замолчала.

Меня встречали первые выбежавшие на луговину или Становщицкого леса. И голоса птиц. То-

ленько прозвонил малютка-королек и лишь чуть громче его — "киу!" — позвал птенцов ястреб-тетеревица. Приютила их одна и та же развесистая ель. Только у ястреба дом-веранда с видом на Волгу, а корольково жилье одна я и могу найти. Дальше в березняке дурачится иволга: то разольется трелью, то драной кошкой заорет, не поймешь, что пророчит: ведро или ненастье? Славят лето сотни голосов единого лесного хора.

Выйдя к Староверской горке, я заглядывалась: не появится ли давешняя цыганка? Безлюдно темнела еловая чаща, пожелтел до времени выжженный склон горы. Единственная сосенка зацепилась как-то за него и тянула не вверх — в стороны корявые ветви. И возле нее я увидела синий цветок.

Чем-то он напоминал "нищкий" левкой, только темно-синие его цветы были не меньше розы, и, хотя я стояла очень далеко, меня опохнуло дурманной волной его ладанного аромата.

В ушах тонко предупреждающе зазвенело: сейчас все кончится! Я же знала... И все-таки бросилась бежать вверх по склону. Что-то кричало во мне: "Коснись! Только коснись цветка! Это счастье!"

Он исчез на половине моего пути. Я подошла к сосне. Без всякой надежды заглянула под нее и обнаружила там червивое семейство маслят. Села на похрустывающую траву, не в силах отделаться от ощущения горькой потери. Но чего?

Встала и уже медленно побрела к дому. Маме я решила о цветке не говорить: мои "фантазии" ее всегда очень сердили. Я чувствовала: из Становщицкого мы уедем навсегда. Лес попрощался со мною.



ород из всех невеликих сил поспешал в заманчивое социалистическое будущее.

Незаселенный гранитный постамент памятника трехсотлетию Дома Романовых занял скороспелый гипсовый

Ленин с рукой, простертой в неведомые дали. Дед по этому поводу невесело цитировал Жуковского: "Обрубок мертвеца нагого, следов не видно остального".

Рядом с памятником поднялась хлипкая вышка для парашютных прыжков. Лихие ухажеры со значками Осоавиахима, частенько заемными, летели, с вышки, как с волжского обрыва. Девушки поощрительно визжали. Карманные воришки добычливо шныряли в толпе зевак. Увлечение парашютизмом не вышло из моды и после того, как, хотя и не в Костроме, но насмерть разбилась знатная парашютистка Ната Бабушкина.

Полагаю, что энтузиазм подогревался и наконец-то наступившей сравнительно сытой жизнью.

Натоля, да и остальные дворовые ребята с черным куском во двор не выходили: только ситный, а то и ломоть духмяного горчичного, да еще с сахаром. По выходным та же Натоля хвасталась материнным печевом — витушками со смешным названием "кушули".

В пропойной семье сапожника Кипеткова у каждого из шести мальчишек появились собственные



штаны — "великое достижение социализма", — по мнению деда.

От забытой сытости чесались руки у городского актива. В центре снесли краснокирпичную Александровскую часовню и на ее месте силами женщин города разбили детский парк, достаточно странный.

Все, что делалось тогда, носило характер внешне грандиозный, а по сути пустышный, временный. Посреди парка возвели чуть ли не античных пропорций павильон. Только вместо мрамора — из жидкой еловой шелевки. Пол в нем от ребячьей беготни прогибался, как гамак.

Еще пошла в городе мода сажать что ни попадя, не сообразуясь с климатом.

Ясное дело: в Костроме ведать не ведали, что сам Сталин пестует лимонные деревца на подмосковной даче, считая, что при социализме невозможного нет.

Отсвет мудрых садоводческих деяний вождя пал и на наше счастливое детство: кустики лоха, подаренные Костроме детьми Сочи, высадили вокруг того самого павильона.

Округло густые, с седыми опущенными листочками, они, сознавая гибель неминуемую первой зимой, зацвели по осени. В пазухах листьев раскрылись невзрачные желтые соцветия: глянешь — не запомнишь. Но аромат от них согрел душу и почему-то соединился у меня с любимыми словами арии Миньон: "Знаешь ли ты страну, где все блеск и краса, где среди мирт и роз померанцы желтеют..." Не знаю, благоухает ли мирта, но терпкий запах меда с лимоном лох оставил в памяти навсегда.

В первую же зиму сквозные аркады павильона растрепал волжский ветер, и оторванные доски отправились по прямому назначению: в бытовые печи. Что осталось, по весне разобрали, а круглую плешь посреди парка засыпали песком.

В том же парке устроили асфальтовый пяточок для катания на прокатных pedalных автомобильчиках. Дело в Костроме невиданное.

С утра до вечера грудились на пяточке алчущие мамы и бабушки со чады. Смех немногих счастливых заглушался обиженным ревом недождавших очереди. Кажется, именно тогда появился в нашем, прежде отнюдь не воинственном городе тип беспощадной завоевательницы жизненных благ. От страха перед раскулачиванием бежали в город самые сильные и сноровистые. Это в былые времена деревня поставляла городу ленивый отсев, теперь она расставалась со своим будущим.

Бабушка очередь на вожделенном прокатном пяточке кипела неистовыми страстями. Ума не приложу, чего ради деду вздумалось выстоять ее?

Так или иначе, ошеломленная чужим писком и визгом, я оказалась в облупленном красном автомобильчике. Увы, короткие мои ноги не доставали до педалей!

Дед толкнул автомобильчик, желая мне помочь. Появилось острое ощущение машинной, неподвластной мне, хитрой и злой жизни. К тому же осатанелые глаза очередников готовы были выбросить меня, неумеху, прямо на откос Молочной горы.

Невеселое вышло катание... Больше никогда в жизни я не становилась в очередь за развлечением. Безусловно, потеряла много возможностей, потому что в нашей стране очередь — основа бытия. Но я и через годы никуда не могла уйти от детского давящего воспоминания: рвущиеся из-под ног педали и жгучий дождь чужих завистливых и презирающих взглядов.

Осень подошла ласковая, словно бы сулившая второе лето. Обманутые ее теплом, зацвели похожие на махровый шиповник парковые розы "Царица Севера" и боярышник выбросил белые розетки соцветий.

Мы бродили с дедом в Посадском лесу, выискивая поздние маслята. Я умудрилась найти даже тройку запоздалых белых.

В разное время, полным неумолчного шороха листья, скрипа еловых лап и тихих клестовых посвистов, было хорошо.

Неладное творилось дома. Бабушка так и не поправилась.

Вечер накануне ее отправки в больницу запомнился мне навсегда. Я пришла из садика голодная и злая: на ужин дали помидорный салат и крупяную запеканку, а я не ела ни то, ни другое. Помидоры в нашей семье любила одна бабушка, и мы с дедом ходили за ними к огороднику Хмунину. Рядом с голубыми кудреватými астрами помидоры выглядели очень красиво, но от их пряного запаха меня тошнило...

Нацелившись выключить "чего-нибудь вкусенького", я заглянула на кухню.

Вечерний косой луч солнца играл на мыльно-радужных осколках венецианской вазочки, усеявших кухонный стол. Вазочку эту я очень любила. По весне в ней всегда стояли ландыши. Бабушка с прямым невидящим взглядом выцветших до тряпичной голубизны глаз усердно что-то толкла в медной сахарной ступке.

— Бабушка, это что? — спросила я, чувствуя неладное.

Она не обернулась. Пестик все так же стучал деловито и ровно. Не глядя на меня, бабушка, слепо пошарив по столу, ухватила осколок вазочки и бросила его в ступку.

Я опрометью вылетела из кухни, готовая звать на помощь кого угодно.

В дверях, запыхавшись от трудной быстрой ходьбы, стоял дед. Я кинулась к нему, прижалась к боку, спрятала голову под рукой.

— Успокойся! — сказал он мне требовательно.

И я поняла, что капризничать не время.

Когда приехали люди в белых халатах, я оказалась у соседки. Внезапно пригласившей меня на чай с сухариками. Я только из окна видела машину, окруженную дворовыми зеваками, и толком не поняла ее назначения. Нянька съязвила: "К психам увезли!"

Когда с кленов во дворе облетели нарядные листья, бабушка опять появилась дома: уже не маленькая, а крошечная от худобы.

Покашляла, все тише и суше, неделю и на рассвете умерла.

Горе вошло в наш дом тихо, словно на цыпочках. Его не сопровождали слышные всему двору рыдания. Просто у моих близких посерели лица, а я для них как бы перестала существовать. Двор нашу семью осуждал за высокомерие:

— Уж и пореветь-то перед людьми не хочет! Барыня!

Это о маме. Деда помиловали: стар. До сих пор не знаю, почему на похороны не приехал дядя Вова.

Беда привела к нам в дом Николая Андреевича. Хорошо помню свой эгоистический страх при виде его высокой сутуловатой фигуры: "А вдруг он теперь будет жить с нами?" Однако Николай Андреевич, переговорив о чем-то с мамой, ушел.

Мама по-прежнему не плакала. Дед — тоже. Приход смерти в наш дом ничем не напоминал дворцовые рыдальные похороны. Соседки осуждающе шептались. Все та же добрая Александра Степановна робко намекнула:

— Батюшку бы позвать...

Мама как отрубилась:

— Незачем! У нас верующих нет.

Александра Степановна молча перекрестилась изуродованной от работы на мокрых ватерах рукой.

Сухим примороженным утром четвертого октября мама с Николаем Андреевичем пошла заказывать гроб. На перекрестке он внезапно споткнулся и упал: умер от инфаркта. Реанимации в те времена не существовало.

Цыганка не обманула: успокоился навсегда.

Кто бы только мог предположить, что через столетия в том же возрасте и в тот же день умрет его сын, Андрей?

Пока малыш очень одобрил "мявкую лодку", которую принесли для бабушки. Даже попытался залезть в нее — нянька не досмотрела.

Меня отстранили от похоронной суеты, отдав под надзор соседок. Да и не испугала меня смерть: я одновременно и не понимала ее и не боялась, привыкнув гулять на кладбище.

Бабушка в гробу выглядела спящей и словно бы старалась занять как можно меньше места.

Опекавшая меня соседка, Александра Степановна, опасно покачала головой:

— Гроб-то велик! Грех! Не дай, Господи, еще смерть кого возьмет...

А мне было жаль не бабушку, а обрезанный куст белых хризантем, что, как по заказу, расцвел на окне в светелке. За те немногие годы, что мы прожили рядом, близким мне человеком бабушка так и не стала...

С этих двух смертей дом наш начал рушиться. Исчезло пианино. Затем ореховый гостиний гарнитур, "собирающий пыли", как звал его дед.

В доме стало просторно и почти всегда тихо. Именно тогда у меня появилась привычка все время напевать что-то. Чаще всего оперные арии, с трудом доносимые хриплой черной тарелкой репродуктора. Пением я пугала тишину. Взрослые меня не понимали.

Мать осаживала:

— Ты путаешь тональности!

Соседки осуждающе качали головами:

— Счастье пропеешь!

Маленькому Андрею мое пение нравилось. Хотя именно он родился с абсолютным музыкальным слухом.



адать под Новый год наверняка придумала третья Андрейкина нянька, Поля — большая выдумщица и отменная актриса.

Посланная в магазин, она прибежала без покупки и без денег, но с воем, слышным на весь дом:

— Ой, Валентина Владимировна! Цыганка глаза отвела, деньги взяла! Ой, чего делать-то теперь?

Отправленная с малышом на прогулку, могла спокойно занести его к своей "коке", жившей на соседнем дворе с кучей собственной детворы, а сама уходила шляться по городу. Да мало ли что еще посещало бедовую Полину голову с рыжими вихрами?

Однажды дед спустил ее с лестницы. Она променяла присланную дядей Вовой из Ленинграда Андрейкину кофточку на билет в кино. Реву и громогласного раскаяния тогда хватило на весь дом.

Но только не зря говорят: "Горбатого могила исправит": Поле хоть кол на голове теши — не унималась.

Мама и дед пошли встречать Новый год к уцелевшим "обломкам империи" Первцикам.

Мне велено было спать. Предполагалось, что и Поля, уложив Андреюку, утомонится.

Однако она тут же привела трех девчонок из нашего дома, и вся компания расположилась гадать возле большого туалетного зеркала в светелке. Второе зеркальце откуда-то принесли. Свечи позаимствовали у деда.

Однако, кроме визга и толкотни, у девчонок ничего не получалось. Возня им скоро прискучила, и они куда-то умчались. Тогда к зеркалу подобралась я, настроила все, как надо, и стала смотреть в сужающийся светлый коридор. Он не испугал меня, а показался дорожкой в мою заповедную сторону. От окна дуло, свечи горели неровно и по комнате бродили тени, но не пугающие: привычные и добрые.

Кажется, времени прошло совсем немного. В глубине зеркального коридора за клубился туман, воблокнистый, седой, совсем настоящий. Потом он рассеялся, и появилась маленькая, но очень четкая картинка: высокий каменистый утес. Насколько он высок, я сообразила не сразу, но все же поняла, что небрежно разбросанные по водной глади у него подножья игрушечные кораблики — настоящие морские корабли. На вершине утеса — девушка.

Ветер треплет шарф на шее и густые, но тонкие волосы, забранные на затылке в пучок. На девушке темное облегающее пальто, и видно, что при ее росте она полновата.

Ни сверхъестественного, ни особо интересного картинка в себе не таила, и я отвернулась. А когда глянула в зеркало снова, там уже зияла светящаяся пустота.

Ясно, что вернувшиеся девчонки мне не поверили. Взрослым я не стала рассказывать сама: слишком часто попадало мне за "бесплодное фантазерство".

Только семнадцать лет спустя, приехав в Магадан и забравшись на прибрежную сопку, я все вспомнила и поняла, что видела тогда саму себя.

Было ли то предупреждением судьбы — не знаю.

Про гаданье, конечно же, узнали, мамино терпение лопнуло: Поле указали на дверь. Судьба ее не завидна: в военные годы я встречала Полю на Сен-нухе, чаще всего нетрезвую и с мужиками последнего разбора.

А у нас появилась Настя — еще одна деревенская беглянка. Тихая, но яркая поклонница Любви Орловой. Совершенно ясно, что по этой причине делать что-либо с толком у "хозяев" она не могла. Ведь ей мерещился собственный "светлый путь". Она всем, кроме деда, хамила целыми днями, нагло бездельничала. Впрочем, старательно и многогранно училась в вечерней школе.

Сейчас я думаю: скольким хорошим деревенским девчонкам сломал жизнь победный полет Орловой в коммунистические небеса?

Маловыразительное плоское и белесое личико Насти озаряла удивительная, сияющая улыбка, когда она вспоминала, как дома выхаживала теленка:

— Сам-от малой, малой, глупой-ой, а губам-от за палец, да и сосет! Думает, титька маткина... А я яго глажу, лоб-от у яго кудрявой...

Настя со временем одолела семилетку, кончила школу поммастеров, и позже я встречала на улице обыденную женщину со смутно недовольным лицом. В небеса не взвилась, но и беда ее обошла: работала, вышла замуж, подняла двоих деток. Только никогда при разговоре не вспыхивала на ее рано постаревшем лице памятная улыбка. Телята остались в деревне и, наверное, тоже страдали без Настиных рук.

В тот вечер я возвращалась из садика в унылом настроении. Опять задала "не тот" вопрос! Последнее время это случалось со мной часто.

Воспитательница Анна Васильевна, большая прилежница, рассказывала нам о ссылках Сталина, и мне пришел в голову простой вопрос:

— А почему его ни разу не поймали? Всех ловили, а его — нет?..

Анна Васильевна закатила глаза:

— Это становится невыносимым! Пусть тебя дома воспитывают, если ты такая умная!

Именно этого, я знала, хотел теперь уже не работающий дед, но сопротивлялась мама. Она все еще тешила иллюзией вылепить из меня с помощью садика истинно советского ребенка...

Так или иначе, я чувствовала себя виноватой и к двери нашей прокралась киской. Сразу услышала сильный незнакомый мужской голос:

— Ты помнишь Панга? В него всегда били молнии. Забраться на камень было интересно, но

можно ли там жить? А я вот живу на самой вершине Панга. Как ни ломай голову, не угадать, кого унесет очередной удар! Ни системы, ни смысла, дикая жестокая неразбериха и всеобщая незащитность. То исчезают самые талантливые, то — безобидные служаки, даже дураки... Как-то вырвался под отчий кров, а здесь все то же, только масштабы другие. Самоуничтожение системы!

Ну, сколько можно торчать под дверь? Я вошла. И мгновенно узнала это длинное бледное и суровое лицо: человек с парохода.

Я ждала только, чтобы нас познакомили, мне запрещалось первой заговаривать с взрослыми. Тогда уж я бы все рассказала!

Но дед с печальным растревоженным лицом сунул мне в руки навеки запретную вещь — "Кокоболо", шведский набор тончайших слесарных инструментов:

— На, займись!

Это означало: как всегда, мне среди взрослых места нет.

Я грустно побрела восвояси, а за моей спиной, не менее напряженно, зазвучала теперь уже французская речь. Сколько за эти годы она скрыла от меня бед и огорчений семьи?

Только когда гость ушел, я узнала, что это навесит нас приехавший из Москвы в Кострому тот самый Федор Трухин, кем боязливо гордился когда-то его стареющий отец.

Мамин друг детства и несостоявшийся нареченный жених.

Блестящий "военспец" и в будущем — изменник родины, правая рука Власова.

Смешливый выдумщик-гимназист и горчайший пьяница, известный в РОА под кличкой "Большая Федора".

Составитель "Воззвания к русскому народу", под которым сегодня, ничтоже сумняшеся, подписался бы любой демократ. Маленькая только закавыка: свободу-то эту добывать собирался он с помощью Гитлера, наверняка понимая при том, что хрен редьки не слаще. Потому и пил...

Как мне его осудить?

Мальчик в матросской шапочке смотрит на меня с камня Панга веселыми озорными глазами. Они не таят и капли зла. Незабываем и прыжок со смертельным риском ради спасения чужой женщины и ребенка. И голос его, больной и страстный, остался в душе навеки. Теперь-то я понимаю: пришел, заправленный, выплакаться тем, кому еще мог доверять.

Он погиб в позорной петле виселицы и, думаю, одним этим искупил свое вынужденное предательство.

Но какую пользу мог бы принести его светлый, опережающий время разум нашей слепой стране!

И какой бы оказалась мамина кривая судьба, не разнеси их жизнь так рано и необратимо?





транно, но все разговоры о Финской войне меня не затронули. Я не понимала самого слова "война". Хотя как раз одолевала "93-й год" Гюго, где лилось достаточно крови. Впрочем, книжная кровь — водица.

Кроме того, хотя многие ушли на фронт, ощущения всенародной беды не было. Отчасти потому, что газеты и радио трубили о близкой неминуемой победе и жалкой слабости врага.

С нашего двора на войну ушло четверо мужиков. По поводу одного — ближнего в пьянстве Лехи Бубнова — вздохнули с облегчением и недобрым пожеланием: "Хоть бы убили...". Но жалели Николая Слезкина, мужика работающего и детного, почему-то напросившегося в добровольцы.

На первом этаже нашего дома сохранилась бывшая купеческая поварня с большой русской печью. Ныне она стала общей домовою кухней. Русскую печь топили в складчину и до отказа набивали емкую печную утробу противнями. А пока печево доходило, пели на голоса. Откуда-то прибрела и утвердилась в бабьем репертуаре нелепая песня: "Среди Манжурии и Китая стояла родина моя. Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним..."

Вроде бы к замерзшим в финских снегах солдатам она не имела отношения, но звучал в ней особый, сиротский и вдовий, надрыв. Словно предчувствие больших грядущих бед. В кухне из скупердяйства держали самую маленькую, еле светившую лампочку. Пыльный свет бледнил и без того прежде времени увядшие женские лица. Надтреснутые от вечной ругани голоса звучали замогильно.

Мы, ребяташки, не любили общую кухню. Нам принадлежали чердаки и сарай-каретник во дворе.

Над сараем тоже тянулся чердак, а в самом давно разгороженном каретнике жили свиньи, козы и даже одна корова. Куры в счет не шли. Казалось, они существуют везде и как бы сами собой.

Теплый живой пар согревал чердак, там и зимой нам жилось хорошо. Однажды воскресным днем на чердак, не взбралась — слепо вползла неприметная белобрысая девочка Соня Слезкина.

— Па... па... пку убили!

Я только что закончила рассказ об очередном захватском подвиге русского сыщика Мефодия Кобылкина. Трепаную книжонку о нем я нашла в банном шкафчике и предсудотворительно прятала от домашних: мне не взбралось брать любую книгу в дедовой библиотеке, но попадало за чтение "бульварщины".

Я понимала, что книжка — глупая, но уж очень нравились ребятам похождения "русского Шерлока Холмса". Его только что собрались погубить, привязав к винту корабля, как вдруг — Соня...

Мы замерли. Соня, размазав слезы по золотушным щекам, все повторяла:

— Па... пу убили! Па-пу убили!

Рыжий Генка Кипятков вдруг сорвался с места: — А моего?!

Кубарем скатился с чердака и помчался в родной задымленный подвал, будто его вечно склоненная над корытом мать знала волшебное слово, могла успокоить. И остальные покинули чердак, словно и забыв про меня и сыщика Мефодия Кобылкина.

Происходило то же, что бывало и в садике. Слушать мои рассказы хотели все. Мною самой не интересовался никто. Отвлеченные чем-то извне, ребята обо мне забывали и словно бы даже и побаивались меня. На задиристом нашем дворе меня никогда не обижали.

Я осталась на темном чердаке одна и некоторое время прислушивалась к ровному дыханию коровы в стойле подо мною, к суетливой куриной возне.

Мне вспомнились случайно подслушанные слова той барыни, что не хотела заботиться о себе сама:

— У этой девочки вместо сердца — льдинка.

Она ошибалась! Я и видела, и чувствовала чужие беды! Но любое переживание почему-то замыкалось во мне и не переходило ни в слово, ни в деяние.

Вот и сейчас мне бы взять за руку и увести домой зареванную Соню, утешить ее конфетой... Но я замерла, промолчала, а Соню увела веснушчатая Зоя, у которой конфет не водилось.

Когда я прибрела домой, оказалось, что приехал дядя Вова Внезапно. Без предупреждения. И потому в доме царила легкая суматоха, обо мне, положе, забыли.

Дядя Вова очень изменился за то время, что я его не видела. Лицо осунулось и приобрело желтоватый оттенок. Стекла пенсне блестели ярче глаз. Но он положил на стол большую в коричневом переплете книгу с серебряными буквами "Фауна СССР".

А еще зеленую коробку с милой Аленушкой и плетенку с засахаренными фруктами.

Сладости, конечно же, привели меня в восторг, но как было обидно, что на дворе зима и мы не можем пойти в лес!

Когда сели обедать, перед дядей Вовой оказалась бутылка с надписью "Коньяк". В нашем доме винных бутылок я не видывала. Это на дворе они не переводились...

Я смотрела на дядю Вову с недоумением и презрением: зачем ему эта бутылка? Почему он не обращает внимания на меня?

Дядя Вова выпил рюмку, лицо его судорожно дернулось и покраснело. Почти сразу налил следующую. И случилось нечто уж вовсе жуткое.

Пальцы вдруг, словно бы помимо его воли, стиснули тонкое, но прочное стекло с такой силой, что рюмка разбилась. Резко отвратительно запахло спиртным. На дворе я всегда убегала от этого бедственного запаха, а тут не могла двинуться с места. Лицо дяди Вовы пересекла судорога, а тело неуправляемо задержалось.

— Бакин! Тебе нужно лечь! — кинулась к нему мама.



— Оля! Иди к себе! — скомандовала мне не терпящим возражений тоном.

Я ушла в светелку. Там на единственном в нашей квартире солнечном окне тянулись к свету все лучшие мамини цветы. Даже зимой доцветала веселая махровая фуксия.

В углу томились наши с Андреем изломанные игрушки. Я ими просто не интересовалась, а Андрейка каждую стремился раскурочить до последнего винтика. Только собрать заново еще не умел.

Не до игрушек мне было: я прислушивалась к тому, что делается в большой комнате, но там все стихло. В конце концов, не выдержав неизвестности, я на цыпочках прокралась к двери и сунула в щель нос.

Поданный мамой обед остывал на столе. Дядя Вова спал на дедушкином "турецком" диване. В его безбрежности он выглядел мальчиком. Дед сидел рядом, понуро опустив плечи, а мама постукивала пальцами по столу, словно вспоминая забытую мелодию.

— Дядя Вова заболел, ты не тормози его, ладно? — попросила она меня.

Но дядя Вова как раз в эту минуту открыл глаза и резко сел, озираясь, как человек, не понимающий, куда он попал. Впрочем, недоумение продлилось лишь секунду.

Увидел меня и странно, рассеянно улыбнулся:

— Есть, есть кое-что и для тебя! — сказал он как-то уж слишком бодро, — но это потом, а сейчас, по моему, самое время выпить рюмочку.

Мама только прерывисто глубоко вздохнула, дед беспомощно пожал плечами.

Я чувствовала себя настолько напряженно, что на всю жизнь запомнила: в тот день подала мама форшмак из селедки, бульон с фрикадельками и судачка по-польски.

Немощные лучи зимнего солнца отражались в дымчатом венецианском стекле лишь ради красоты поставленных на стол рюмок. Кроме дяди Вовы из них не пил никто.

Он же, выпив еще, как-то не в лад одиноко, шумно развеселился. Сначала стал читать пародию на знаменитые стихи Гумилева "Жираф":

*У истоков сумрачного Конго,
Возле озера Виктория-Ньянца
Под удары жреческого гонга
Он свершил мистические тапачи...*

*Бормотанье, забыванье, пенье
Под конец переходило в стоны...
Но взирал на все без удивленья
Пестрый пес, подарок Ливингстона.*

После вынул из портфеля листок со множеством рисунков — историю слона, наказавшего своего неградивого погонщика. Это и было то, что предназначалось мне. Не знаю, выпускались ли в те времена "Комиксы", но у дяди Вовы получались они отлич-

но. К рисункам прилагались и стихи, из которых уцелели в памяти только две строчки:

*В Станегамбии жил слон,
Раз гулять выходит он...*

Дядя Вова бурлил, а у дедушки взгляд все более напоминал безмолвную жалобу наказанного пса.

Мама сидела, очень бледная, опустив голову.

Вот-вот должна была вернуться с Андрейкой очередная наша непутевая нянька Капа. Обед, можно сказать, остался нетронутым.

На дворе не в лад гудели две гармошки: это упившиеся мужики по-своему поминали Николая Слезкина. Подвывали бабы....

Внезапно дядя Вова сообщил скучным голосом:

— Жене дали восемь лет. Больше я ничего узнать не смог. И это-то едва-едва выведаль... Дочь участника Кронштадтского мятежа. Ну кем она может быть? Конечно же, террористкой... Даже передачу не приняли.

— Бакин, но ведь и мы не знаем, что будет с нами завтра... — вздохнула мама.

Впервые за прошедшие при мне годы взрослые говорили о своих делах по-русски. Меня они словно бы и не замечали.

И я, тоже впервые, увидела вдруг, что дедушка состарился: у него под глазами черные мешки и пальцы дрожат. А у мамы меж бровей залегла глупобоя морщинка.

— Уезжаю в Туркестан, — тускло сказал дядя Вова. — На Памире еще много белых пятен, куда наш брат, энтомолог, ноги не заносил. Оставаться дольше в Ленинграде невмочь.

— Но твоя докторская? — заикнулась все же мама. — Ведь ты же писал, что о твоей "Фауне"... заговорил весь научный мир, письма из США, из Англии, они же что-то значат!

— Безусловно, значат, и настолько много, что как бы их не пришлось читать в Крестах! — нехорошо улыбнулся дядя Вова. — Мы все под Дамокловым мечом.

Он налил себе очередную рюмку, и никто ему не прекословил.

В коридоре с грохотом опрокинулась прислоненная к стене ванночка, в которой купали Андрейку. Это означало, что Капа возвращается с прогулки. Таким уж свойством наделила природа эту неунывающую хохотушку: все ронять и ломать.

До появления у нас Капа жила у вечно хмельной тетки, которая "вгоняла ей науку в задние ворота". По-моему, без успеха. Обитали они в подвале соседнего с нашим "михинского" дома. Мама просто пожалела девочку-неделуху.

Себе на горе.

Интересно то, что к ней, первой из всей череды нянек, сразу и навсегда привязался Андрейка. Он очень любил с ней гулять.

Сейчас они возникли на пороге комнаты оба одинаково розовощекие и сияющие с мороза.

Так и запомнились мне два мира. Один: пепельные лица взрослых в темной тяжелой раме дубовой мебели нашей столовой. Английские настенные часы бархатным голосом отсекали минуты жизни этого мира. Второй: два сияющих, одинаково беспечальных лица, для которых время не существовало.

Сама я тогда впервые ощутила его ход, и сердчишко сжалось тоскливо от предчувствия многих грядущих бед.

... Дядю Вову мы проводили к вечеру того же дня. Его гнала неистовая тоска. Дедушка с нами на вокзал не пошел, остался дома топить печку. Шла мама, а я катилась следом, ловя отдельные слова их разговора.

Запомнились мамини:

— Бакин, а что будет, если с тобой в горах случится припадок? Ты же видишь: эпилепсия вернулась. А ты еще и пьешь...

И дяди Вовины:

— Ничего теперь не имеет значения, Бинки! Ничегошеньки!

Мороз и на самом деле рассвирепел к вечеру, но от безнадежности услышанного вовсе до костей пробирал.

На бестолково многолюдном и шумном вокзале говорить уже стало невозможно. Толкались, били по бокам коваными угольниками фанерных чемоданов могучие девахи, бежавшие из колхозов на очередную ударную стройку. Парни ловили с хохотом и присвистом бесхвостую курешку, удравшую у очумевшей от чужелюдя старухи.

Дядя Вова приподнял мою голову за подбородок, пылливо заглянул в глаза:

— Ух, какая серьезная! Стихи-то писать будешь? Как же иначе в нашей семье?

Я не посмела сказать, что уже низаю рифмы в уме, только записать придуманное не умею.

— Ничего! Приеду в следующий раз — ты уже все поймешь. Привезу тебе свою тетрадку со стихами о Памире. Жди!

Поцеловал маму:

— Держись, Бинки! Помни о Панге!

Последним вскочил на подножку тронувшегося поезда: маленький, широкоплечий, курчавый — ни на кого не похожий.

Если бы знать, что вижу его в последний раз!

В сорок шестом, затравленный как "вейсманист-морганист", он при так и не выясненных обстоятельствах погиб на Дальнем Востоке в бухте Ольги... Ему едва исполнилось сорок шесть лет. Второй том "Фауны СССР" остался незаконченным.

Первый сегодня — классика энтомологии. На последней фотографии из "Персиковой коробки" дядя Вова снят за работой. Направленный луч света падает на то, что он рассматривает в лупу. Скорее всего, объект дяди Вовиных исследований та самая мушка дрозофила, что сгубила всех генетиков и его в том числе. Кудрявая голова низко склонилась над столом. Готическая резная спинка стула невольно

напоминает трон. Тот, что принадлежал ему в науке по праву.

По возвращении домой я еще на лестнице учуяла запах дыма, а огня я панически боялась с младенчества. Я вцепилась в мамин рукав, она же бегом кинулась наверх.

Когда открыли дверь, оказалось, что в квартире не продохнуть.

Мама опрометью помчалась в светелку мимо полупогасшей дымящейся печи: где Андрейка? Но ни Капы, ни его дома не обнаружилось. Как выяснилось чуть позже, Капа ушла к нижним соседям играть в лото. Забрала с собой и Андрейку.

Дед лежал на полу, неловко подвернув руку. Лицо у него было чужое, страшное, чугунное. Его вид отбросил меня к двери.

Мама прежде всего распахнула все форточки, вынула забытую дедом вьюшку из печи. Велела мне коротко:

— Нашатырь! Быстро!

Искать было недалеко: из-за частых угаров он у нас не переводился, всегда стоял близко, под рукой. Я принесла бутылочку.

Только помочь она уже никому не могла: дедушка скончался от инсульта.

Один. Без нас. Бог весть, что было его последней мыслью? Чего, какого камня беды не выдержало в конце концов истомленное жизнью сердце?

Похоронили его тихо. Опять же без желанных нашему дому приподных слез и воплей. Лег он в одну могилу с бабушкой. Так сам хотел.

От безнадежной похоронной суеты мама и в этот раз меня отстранила. Может быть, предчувствовала неотвратимую цепь похорон друзей и близких? Не знаю... Над общей могилой тогда поднялась легкая белоствольная береза. Теперь это огромное, изъеденное чагой дерево, а могилы нет.

Ее, как и сотни других, в одночасье сравняло с землей ретивое начальство ради создания парковой зоны вокруг местного "вечного огня".

От огня этого сегодня закуривают сигареты юные бизнесмены, а на бывшем кладбище радостно цветет и множится сытый бурьян.

Так или иначе, со смертью дедушки обрывается первая история "Персиковой коробки".

Вторая начинается через годы, через войну и голод, и она уже совсем иная. Когда-нибудь и для нее наступят сроки...





Щельково. 14 июня 1966 г. День памяти А. Н. Островского.
М. М. Шателен, А. Н. Чернявская, И. А. Дедков возле церкви в Николо-Бережках.



"ЖИЗНЬ ПОДОБНА МОЯ ЖИТЦЮ"



Когда Игорь Дедков купил избу в Демидкове, а я жил рядом в Сумарокове, то вообразил, как мы едем мимо Караваева, как бродим по остаткам гридинских лесов. Получились стихи "У Сендюги-речки".

Из села Николы на Вохме я писал ему, приезжал в Кострому. Мы тогда виделись чаще, чем потом в Москве. Игорь верил в крепость коренной провинции, чуждался лишней паники, лишних восторгов. Одна из первых его серьезных работ была об Акакии Акакиевиче. Меня он ободрял, когда выходили такие стихи. В предисловии к своей, как вышло, по-смертной книге есть моя строчка: "и долг русский долг". "Долг погоняет нас, долг!" — пишет Игорь. Предваряя, лет 5 назад, одну мою подборку, он писал об этом. А кончалась она, помню, стихами об усталости от огромного летнего дня:

*...При всем при том
Меня гнетет несделанное дело,
Преследует несказанное слово;
Я чувствую великую усталость
От жизни той, непрожитой, — и смерть
Приму от нарастающего долга.*

Автор.

НА ОДНОМ ОСТРИЕ

*У Сендюги-речки великая свалка.
Ворона шагает степенно и валко,*

*И нехотя-медленно-косо как дым
Возносится стая над лесом худым.*

*И где залезает кольцо обороны,
Не знают шпионы, а знают вороны,*

*А мы, заблудившиеся грибники,
Наткнемся на зону — плюемся с тоски!*

*Не нашим с тобой разумеьем и толком —
Вороны питаются кабельным током,*

*Который выклеивают из глины
И наши воззрения сводят на клян.*

*А милый пейзажик из поля и леса
Стоит на платформе бетоно-железа,*

*Она же — весьма вероятно сие —
Покоится вся на одном острие.*

СЕЛО НИКОЛА

*Эту зиму колю я дрова на морозе.
Разбираюсь в березе, понимаю осину,
какая внутри собрала все оттенки
январской зари,
так и в печке дойдет добела
и дотлеет дотла.*

*А сосновый кряжок расколю:
эти волны, эти цепкие болонь... Развалю —
и на сколе смоляную волну повели эти доли
во всю долину!
Отливает шафраном ольха:
под сугробом поленница —
что лазоревки, что твои снегири!
Ах, беда не беда, а беда не лиха —
тот слотри, кто не ленится.*

*Как спасаюсь? До зари просытаюсь,
прыгаю в польняю.
Жизнь подобна моя житию.
Примерзаю ко льду, вылезая, по снегу бреду
к ризам.
Чуть заря. Ветерок и по телу парок.
У меня ревматизм и сердечный порок.
Уважаемую болезнь лечат — наоборот.*

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ

Эта запись старинных народных игр сделана в Шарьинском районе в 1994 г. работниками культуры и подготовлена к печати Любовью Соколовой. Сюда вошли игры, распространенные в районе в последнее столетие и, в основном, еще не забытые. Народные русские игры рассчитаны были на лесные полянки и деревенские дворы, поэтому столь незатейливы и просты игровой "инвентарь". Молодежь постарше предпочитала тешииться в играх, где можно померяться силой и ловкостью, в них с удовольствием принимали участие даже взрослые. Увы, многое из увлечений прошлого забывается. Поэтому великое спасибо людям, кто записал и обработал рассказы старожил. Традиция игры — часть нашей культуры, о возрождении которой сегодня наша забота.

ИГРА В "НОМЕРА"

Число участников этой игры не ограничено, но лучше, если в ней принимает участие нечетное количество игроков (возраст 15-18 лет).

Правила такие: на вечерках (беседках) в деревенской избе на скамейки садятся парни человек 15-10. Каждому парню садят на колени девушку. Ту, которая ему нравится. Водящий с ремнем ходит и считает, раздавая номера: 1, 2, 3, 4... и т. д. Один из игроков — без пары. Вот он и должен кричать себе номер: "3", например. И водящий ремнем хлещет девушку под номером "3", чтобы быстрее бегала. Она садится крикнувшему парню на колени, а ее партнер остается без пары, выкрикивает другой номер. Ведущего выбирают с помощью считалки. Например: "Катилась торба с высокого горба. Что в той торбе? Хлеб-поленица. Кому доведется, тому и водиться".

Эта игра была особенно любимой среди молодежи. Таковой ее делало то, что в процессе ее молодые люди имели возможность общаться друг с другом, ближе познакомиться. Игра передавалась из поколения в поколение, поэтому установить конкретно, когда она появилась в данной местности, не удалось.

Рас. А. Лебедева, 1926 г. р., д. Надежино, с. Н.Шанга. Зап. Н. Домрачева, С. Шорохова, 1994 г.

"КИПИТ" ИЛИ ЛАПТИ

Число участников не ограничено.

Игра проводится в основном в летнее время года. Местом проведения игры может быть любая уличная площадка. Вбивали кольшек, к нему привязывалась веревочка. У основания складывались ошметки /лапоточки/ горочкой. Водящий берет за веревочки левой рукой, в правой руке у него лапоть. Он ходит вокруг кольшкa с криком "Кипит!", а играющие должны утащить у него все ошметки, но так, чтобы водящий не закалил его лаптем. Если водящий закалит играющего, то следующий становится водящим. Если же играющие утащили все ошметки, и водящий их не закалил, он бросает лапоть и убегает.

За ходом игры следят сами участники. Ведущий здесь выбирается при помощи считалки: "Я куплю себе дуду и по улице пойду. Громче, дудочка, дуди. Мы играем, ты води!" Игра любима. Каждый хочет быть ловким и увертливым.

ДВЕНАДЦАТЬ ПАЛОЧЕК (разновидность прятков)

Число участников 6-12 человек, возраст — 9-13 лет. Место игры — улица, лесная поляна.

Нужны 12 палочек, доска и кряж. На кряж ложится доска. 12 палочек кладутся на один конец доски. Ведущий сильно ударяет ногой по свободному концу досочки. Палочки, лежащие на другом конце, разлетаются в разные стороны. Водящий их собирает, а играющие в это время прячутся. Когда водящий соберет палочки, он идет искать играющих, найденный выбывает из игры. Спрятавшиеся имеют право подбежать к доске и ударить ее, чтобы палочки вновь разлетелись. Водящий должен собрать их, а играющие опять прячутся. Если же водящий найдет всех, то водящим становится первый, кого нашли. Ведущий выбирается по считалке: "Ехал мужик по дороге, сломал колесо на пороге. Надо гвоздей, говори поскорей, не задумывайся". По ходу участники кричат: "Чур-чур, води до утра". Эта игра наиболее любима среди подростков, так как здесь они могут показать всю свою ловкость и сноровку.

КОЛ

Возраст участников 9-13 лет.

Для игры брали кол и колотушку. Все играющие забивали колотушкой кол в землю. Водящий должен выдернуть кол, пока он это делает, все прячутся. После того, как водящий выдернул кол, он идет искать играющих. Если он нашел кого-то, кричит: "Сергей за углом", — вбивает кол обратно. Водящим становится тот, кого нашли первым. А может получиться так, что играющий опередит водящего и выьет кол, тогда водящий водит еще кон. Водящий выбирается с помощью считалки: "Катился горох по блюду, ты води, а я не буду".

Игра передается из поколения в поколение. Дети учат правила по рассказам сверстников. Игра распространена во многих районах до сих пор.

Рас. Н. Гольянов, 1923 г.р., д. Боярино. Зап. Н. Домрачева и С. Шорохова.

ИГРА В ЧЕРТУ

В игре принимают участие дети 7-12 лет. В основном играют только девочки. Это легкая игра.

Классики расчерчиваются на любой уличной площадке. Чертится рамка из 4-6 клеток. Играющие прыгают на одной ноге, передвигая склянку или камушек из клетки в клетку. Если камушек попадает на черту, играющий "пропадает". Первой начинает игру та, которая сумеет сказать: "Я первая". Игре учились от старших сестер и подруг.

Рас. Л. Шатрова, 1932 г.р. д. Костриха. Зап. Н. Домрачева и С. Шорохова.

КАТАНИЕ ЯИЦ

В эту игру играли на Троицу и на Пасху и дети, и взрослые. Берется деревянный желобок. Один конец ставится на земле, другой приподнимается. Яйцо прокатывается по желобку как можно дальше. Следующий играющий скатывает яйцо так, чтобы сбить или ударить яйцо первого. Если яйцо собьют, его забирают себе. Игра продолжается до тех пор, пока все яйца не разберут.

Любимой данную игру делало то, что всегда для победителя есть приз — разукрашенные пасхальные яйца.

ЛАПТА

Условие — четное количество игроков. Это могут быть люди любого возраста.

Нужна большая ровная площадка на свежем воздухе. Лапта-палка, которой бьют по мячу, и мячик. Ребята делятся на две команды. На площадке чертятся три черты (одна — в начале поля — в 2 метрах, другая — в 3-5 метрах, третья — в пятидесяти). Одна команда забирает лапту за 1 черту, вторая команда встает в поле между двух черт. Водящий лаптой забивает мяч в поле. Играющие ловят его, а в это время водящий должен, оставив лапту, бежать ко второй черте и обратно, а играющие должны его "закалить", передавая друг другу мяч. Если водящего "закалили", он остается за чертой. Лапту берет другой водящий. Команды меняются местами.

За ходом игры и соблюдением правил следят все участники. Выбираются два капитана (матки) от двух команд. Возможны выкрики: "Лови свечу!", "Отсаливай!".

Перебегать можно только до тех пор, пока мяч вне города. Вернувшийся в город игрок имеет право опять отбивать мяч в поле в порядке очереди. Данная игра считается любимой до сих пор.

Игра имеет несколько вариантов. Например: пионерская лапта, где вместо лапты используют ракетки от настольного тенниса, и маленький теннисный мяч.

Рас. З. Кузнецова, 1919 г. р. Зап. Н. Домрачева и С. Шорохова.

ИГРА "НА МАТКИ"

Возраст участников 12-14 лет. Место игры — открытая площадка. Двое водящих встают парой. К ним подходят парами участники. Заранее пара задумывает два слова, как бы свой пароль. Игроки, первая пара, спрашивают: "Матки, матки, чей запрос?". Один из водящих отвечает: "Мой". Его спрашивают: "Фигус или Мечта?". Матка выбирает: "Мечта". Играющий под таким названием встает к матке в команду, а второй встает к другой матке в команду. Так же и следующая пара... и т. д. Набирают команды. Потом начинают иг-

рать: одна команда встает в поле — водящая, а другая — играет. Играющая команда бросает мяч в поле и разбегается, а водящие должны мяч поймать и "закалить" играющих. Если "закалили", команды меняются местами.

За соблюдением правил следят сами играющие. Вожжа выбирают по считалке: "Шла кукушка мимо сети, а за нею малы дети. Кукушата просят пить. Выходи, тебе водить".

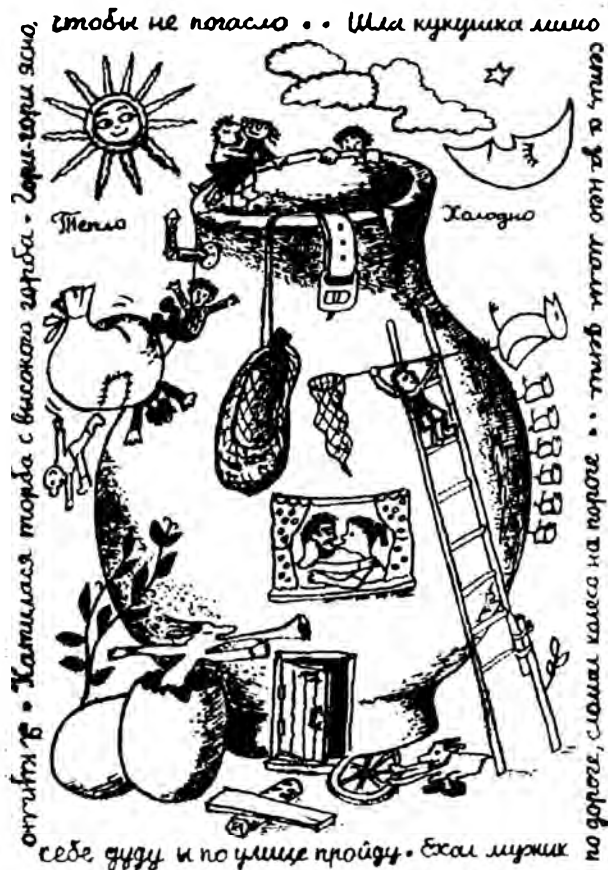
Данная игра была наиболее любимой среди подростков и передавалась из поколения в поколение.

ЗУБАРЬ

В основном в данную игру играют мальчики, возраст участников от 9 до 16 лет. Для игры нужен складной ножик. Он сгибается под углом 90 градусов, лезвием втыкается в землю. А потом пальцем снизу нужно было поддеть, чтобы он летел и втыкался в землю. Так играющие набирают определенные очки. Кто меньше всего набрал, для того в землю вбивают заостренную палочку. Забивает ее каждый играющий ударом ножа довольно глубоко, а проигравший должен достать ее зубами. Если палочка слишком далеко забита в землю, то для проигравшего в земле вырезается место для носа и для подбородка.

Данную игру делает любимой то, что мальчишки могут показать друг перед другом свое умение и ловкость рук. Игра появилась очень давно, передавалась из поколения в поколение. Любима среди подростков и в наше время.

Рас. Н. Гольянов, 1923 г.р., д. Боярино. Зап. Н. Домрачева и С. Шорохова.



ЖИЛ-БЫЛ У БАБУШКИ СЕРЕНЬКИЙ КОТТИК

РАССКАЗИК

Родился Степан в большой кошачьей семье, учился в школе кошачьих премудростей, трудился в подвальчике — по отлову мышей. Босолапое детство и длиннохвостая юность его были трудны и безрадостны до тех пор, пока возле мусорной кучи не встретилась ему добрая бабушка Нюра. С тех пор Степа поправился и приосанился, дворовые песни поменял на домашнее мурлыканье и перестал ловить мышей. Ему и без них было хорошо: бабушка то сметанки даст, то куриную ножку подбросит. А уж когда внук ее рыбак Василий заходил, то у Степы был праздник — и в ушнице рыбка перепадала, и жареная, и в натуральном виде. Так и жили они с бабушкой Нюрой душа в душу ровно пять лет и три года.

Однако со временем стал замечать Степа, что в миске у него все меньше становится вкусенького. Да и Василий стал заходить все реже, а свежей рыбкой от него давно уж не пахло. Не понимал многого Степан, стал грустить и снова вспоминать дворовые песни. И с горя во дворе под недостроенным забо-

ром познакомился он с известной на всю округу кошкой Машкой, и та однажды показала ему, как у ближней остановки продают прямо с ящиков аппетитные куриные окорочка. И загоревал тогда Степа пуще прежнего, совсем перестал слушаться бабушку и ударился с Машкой во все тяжкие...

Пролетела весна, аукнулось лето, и вконец надоела Степе такая жизнь. И пришел он просить у бабушки прощения, а та заболела и молча лежала на кушетке. В это время и внук ее пришел, поставил на стул сетку и опять куда-то заторопился. "Верно, на рыбалку!" — обрадовался Степа и прыгнул довольный ему на плечо. Однако направился Василий не к реке, а совсем в другую сторону. "Видно, опять на митинг или на выборы", — с тоской подумал Степан и посмотрел окрест печальным взглядом своим. Не разбирался он в политике, но очень хотел, чтобы снова Василий стал ходить на рыбалку, а в доме бабушки Нюры не переводилась сметана и появились свои, а не заморские куриные окорочка. Вот так.

М. С.



ГУБЕРНСКИЙ

4/95

ИСТОРИЯ -
ЮРИДИЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРЕСВИТЕРИЯЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

ДОМ

Время Общество Знание

Облик старых русских городов. Интервью с архитектором.
Солигаличу - 660 лет. Традиционные рубрики "Губернского дома":
"В гостях", "Город мастеров", "Обычаи и обряды",
"Промыслы в губернии", "Семейный альбом" и другие.

О том, как фермер храм возродил.

Свидетельства Архивы Документы

Основание Соли Галичской.

Шедевр из усадьбы Патино.

Солигаличские Лихачевы.

Литература Искусство Культура

Музыкальная жизнь уездного города XIX века.

Как в старину на Совете свадьбы играли.

Иван Шумский. Стихи.

Редактор Николай Муренин
Художники Юрий Бекишев, Василий Чистов.
Фото Георгия Белякова, Сергея Калинина.

Адрес редакции: 156000, г.Кострома, пр.Мира, 7, тел. 51-67-38.
Извините, рецензировать и возвращать рукописи не имеем возможности.

Сдано в набор 25.04.95 г. Подписано к печати 7.06.95 г.
Печать офсетная. Объем 10 п.л. Тираж 3000 экз. Цена свободная.

Набрано, сверстано и отпечатано в областной типографии им. М.Горького
управления по делам печати и массовой информации администрации
Костромской области, г.Кострома, ул.Щербины, 2.

